

Надежда  
Чернова



## КУДЫКИНЫ ГОРЫ

Цикл рассказов

### ЛАБЗЯ

В Боровки мы ехали за вениками. Отец сказал, там есть хорошая берёзовая лабзя. Заодно повидаем Журавлей: отцову сестру Ньюру и мужа её, Кузьму Журавлёвых. Они теперь жили вдвоём, дети переехали в город.

Я скучала по Боровкам. Деревня мне казалась райским уголком. Давно там не была. А раньше, в детстве, ездила часто – родители меня отправляли на всё лето, и никакой прелести в Боровках я тогда не видела. Скучное жёлтое солнце, будто в небе стояла навозная жижа. Скучная пыль на дороге, такая густая, что пока добредёшь с автостанции до Журавлей, делаешься серой от этой пыли. И лопухи вдоль плетней тоже серые, унылые, будто мёртвые.

Теперь же, пока мы ехали в красном «Икарусе» по хорошо укатанному асфальту, я ощущала посередке груди нечто, похожее на счастье, и уютнее устраивалась в кресле, новом, пахнущем жёлтой кожей, чтобы счастье было ещё сильнее. За промытыми синеватыми окнами мелькали свежие перелески, солнце отблескивало на стёклах павлиньими перьями, бело-фиолетовые клеверные луга разбегались в разные стороны, и чёрная дорога аккуратно шла по равнине. Мы пролетали мимо белых деревушек, с длинными антеннами на крышах и неизменными тяжёлыми гусями на безлюдных улицах, мимо водокачек и вытянутых кишкой, приземистых ферм, потом впархивали красной бабочкой, мягко пружиня на хороших колёсах, в медно-зелёный коридор сосен, и тогда в приоткрытые окна влетал горячий запах смолы, который напоминал почему-то о кладбище. Может, потому, что в Боровках хоронят в бору, где сухо и полно сухих жёлтых иголок, которые хрустят под ногами, когда идёшь, и тишина делается живой, не такой страшной и вечной.

Раньше дорога казалась длинной, терпения никогда не хватало выдержать её, и к концу она так надоедала, что хотелось выскочить из автобуса и бежать вприпрыжку до деревни. Теперь мы проскочили семьдесят километров почти что мгновенно. И вот уже въезжаем по гулким мосткам в Боровки. Под мостками еле дышала ядовито-зелёная речка. Я её не узнала. И отец не узнал.



– Что за речка? – спросила я тётку, что сидела впереди нас и всю дорогу щёлкала семечки, сбрасывая лузгу за окно.

– Поганка! – сказала тётка, не оборачиваясь и продолжая звонко расщёлкивать семечки.

Поганка, заваленная кучами золы, тряпок, сломанных оглобелей и другой рухляди, расстроила меня, и я вспомнила, что ведь когда-то была она хорошей рекой, с чистым песчаным дном и холодными ключами, и звалась нежно Веснянкой. Берега её зарастали яркой резедой, тальником, могучими хвощами, осокой. Теперь чернела подозрительная грязь. Но горевать было некогда – мы приехали.

Китайской пагодой, с задранной к небу крышей, выросла автостанция. «Икарус» мягко встал, сбавив скорость только перед крыльцом. К нему выбежала крепенькая женщина в короткой юбке. Через плечо у неё болталась кондукторская сумка с рулоном розовых билетов. Женщина сварливо закричала что-то шофёру, и видно было, ей страсть как хочется ругаться, потому что она тут же, забыв о шофёре, накинулась на бабушку с детской ванной, которая рвалась в автобус. Отпихнув бабушку, женщина начала шуметь на бродячего пса в репьях, что задрал ногу у заднего колеса «Икаруса».

В стороне стояли мужики, все, как один, в бумажных пиджаках с мелкой полоской, рубахи застёгнуты под самое горло. Небритые, курят, и безучастно глядят на суету вокруг городского автобуса. У ног они держат столярные ящички, а подмышками – кто короткую пилу, кто топор, завёрнутые в холстину. Видно, плотники. Артель.

Раньше от автостанции, бывало, долго идёшь. Теперь, оказалось, рядом: через три дома четвёртый – наш.

Изба Журавлей вросла в землю – окон почти не видно за лопухами и рослыми стволами садовой мальвы. В Боровках почему-то любили мальву, и она празднично горела в каждом палисаде, как полыхали и крыши, одинаково крашенные суриком. Потом Журавли растолковали нам, что в магазин завезли как-то банки с суриком и семена мальвы. Все и купили.

Мы отворили покосившуюся калитку. Она уже выпала в земле глубокую ямину. У конуры сидела собака Фискатка и ела помидор. На нас поглядела с улыбкой, но всё же гавкнула для приличия. Из летней кухни высунулась Нюра, и кинулась к нам, закричала:

– Кузьма! Кузьма! Слезай! Гляди-ко, кто приехал!

Но моего отца, а своего брата, обнимать не стала, как обычно водится. Поздоровались за руку, сделав при этом такие важные и серьёзные лица, будто они два начальника и встретились для проведения общего собрания. Я была принята так же – сдержанным рукопожатием.

Кузьма, кряхтя и матерясь, задом, кое-как, сполз по шаткой лесенке с коровника, где латал крышу. Выглядел он совсем стариком, усох, один хрящ носа задиристо торчал посреди лица, обрызганного сухими блёстками щетины. Кузьма тоже был в бумажном пиджаке с мелкой полоской, и рубаху застегнул наглухо, как и мужики на автостанции. Видно, мода у них тут такая. Он так же, как Нюра, церемонно, за руку поздоровался со мной и отцом, и тут же стал жаловаться на свою крышу, с которой бьётся уже второй год, а она, зараза, всё протекает. Он с обидой глядел на кривые горбыли и сильно затягивался дешёвой папиросой.

Кругом витал дух разрухи, начавшись с самих Журавлей. У курятника валялось бревно, ставшее жёлтым от трухи. Сам курятник подпёрли черенком лопаты, чтоб не рухнул. Летняя кухня была, как попало, оббита кусками фанеры, жести, растрёпанного картона. Окошко лопнуло, и его скрепляла полоска липучей мушиной бумаги. Крыльцо у избы покосилось, ступеньки провалились, из дыр лезли какие-то настырные стебли, и даже головки лиловых колких цветов.

Фискатка, доев помидор, решила пройтись по двору, и мы увидели, что ноги у неё больные, неестественно вывернутые, и каждый шаг даётся ей тяжело. Она то и дело останавливалась, грустно, по-человечьи вздыхала, и смущённо поглядывая на нас, ковыляла дальше. Старая спина провалилась, как у изъезженной лошади, хвост превратился в жалкую тряпку, а из глаз текли мутные слёзы, хотя собака и скалилась, и старалась соорудить весёлую улыбку.

– Фискатка, на место! – приказал ей Кузьма. Собака послушно вползла в коровник, откуда давно вылетали к нам густые ароматы стойла, и в темноте угадывался белый бок коровы Девки. Старая Фискатка улеглась в хлеву возле коровы. Нюра уже успела поставить самовар, бросить в кастрюлю начищенную картошку, и теперь колдовала над жестяной миской со странной зелёной кашей.

– Что это? – заглянула я к ней.

– Да вот, травку перетираю, корову лечить.

– А что с ней?

– Ой, и не спрашивай! Дожились мы уже до Епишкина задка. У вас-то в городе ещё, может, и бывает когда молоко, а у нас тут ничем-ничего, даром што деревня. Зайдёшь в сельпо – шаром покати. Пусто! Одне констервы – мы их так зовём. Ещё бабы шутят: «Констервы из русалок в томате!» А уж масло там или сметана – забыли, как и звать. Вот до чего дошло, в деревне-то! Совсем люди отучились от хозяйства – мало кто теперь держит. Ни травинки, ни живинки. Только мы с дедом возимся с Девкой, да вон, у Груни-соседки есть коровка, да у деда Епишки, и огород у них загляденье. Другие и огородов не держат – всё из города прут, многие ведь там и работают – тут кака работа? А мы, старики, перебиваемся, как можем. В городе кому мы нужны? Да ведь и должен же кто-то в деревне жить, штоб совсем не пропала. Вот и живём, и терпим, и верим: авось, всё по-старому будет, как при советской-то власти. Кузьма мой её ругат, а всё ж таки и сам уж видит – лучше было. Своим хозяйством и живём – чё ещё-то делать? Совсем задревееешь, а так хоть движемся мал-мал. Но в стойлах скотинку приходится держать – пастись выпусти, если без присмотра, украдут, уж скоко раз бывало, токо шкуры потом в лесу находили, а самих коров ширмачи режут на мясо, и опеть же в город везут, на базар. А то и во двор залезут, чтоб украсть. Милиция и не разбирается. Мы так думам, заодно оне. Ещё и поэтому народ тут не хочет связываться с хозяйством. Беда, прям!

– А если пастуха нанять?

– Дак нанимали, убили нашего пастуха. После того никто не соглашется. Выгуливам корову сами, как собаку на поводке – ей же нельзя застаиваться.

Ну, што, подросла Девка, она тёлкой осталась от нашей прежней коровы Зорьки – Зорьку тоже убили. Теперь Девке жених нужон, да где ж возьмёшь? Узнали мы тут, что в Сухом Логу цыгане живут, и у их вроде есть. Пошла я туда. И правда, есть! Давай к ним свататься со своей Девкой. Оне чванятся, куда там! Цену набивают. Заплатила, конешно, куда ж деваться?

Вот на другой день раненько встала и погнала я Девку по холодку. Пришли, а чавелы обступили меня со всех сторон, шупают на мне шаль кашемирову, загорелись: отдай да отдай! И вот чё я её напялила, зачем, спрашивают? Повыбражать дуре захотелось. Довыбразалась! Эх, отдала я шаль. Знаш, кака красива была! Синяя, в алых розанах. Но уж так мы уморились с коровой, пока дотрюхали, что на всё я была согласная. Девка-то, зараза, как на волю вырвалась, так я её никак согнать не могла с травы: глаза выпучит и лезет.

Вывели тут цыгане свово быка, такого ж чёрного, в завитках на лбу, как сами, и серьга в ноздрях. Штобы ты язвило! Я так и прыснула, не удержалась. А цыгане сели в сторонке на корточки, смотрют на свово рогатого атамана. Тут я опомнилась:

– Да чё ж это тако, нехристи! Чё ж вы на улицу-то их вывели, на люди? Пустите к себе в загон, пусть уж там оне...

А цыгане смеются:

– И здесь хорошо!

Не пускают к себе, заборище у их высокой. Вот врут всё, будто табором оне живут, в шалашах. Куда там! Дома у их и заборы, как в тюрьме. А Девка моя оторвалась, наконец, от травы, на быка-то смотрит, тянет к нему мордочку, и тоненько так мычит. А бычище отвернул от неё башку, серьгой трясёт. Ревность меня тут взяла. «У-у, – думаю, – цыганска твоя морда! Ишь, разъелся. На ворованном, поди, жируют тут! Может, и в лесу наших коров это оне режут, и шаль мою с меня скрали...»

Пока я так думала, бык сообразил, чё от него хотят. Погнал бычище мою Девку. Она без памяти, прям, сделалась: до чего он её напугал. Оседлал. Она кричит, бедна, а он уж крепко вцепился. Цыгане гогочут, жеребцы поганья, а я отвернулась, со стыда сгораю. Страм ведь один! Ох, Господи...

Назад-то когда шли, она голову опустила и травы ей не надо. А я всю дороженьку редела. Чё-то уж так мне её жалко стало, так жалко, будто над родной дочерью моей надругались, и про шаль забыла. Когда слёзы кончились, стала я цыган жалеть: ну, не дура ли? Ох, думаю, тоже ведь грызь кака-то их мучит – песни у их больно жалостливые. Вот вроде и веселятся, и пляшут, а сердце от их песен заходится. Пусть уж, думаю, хоть шаль моя их порадует. И полились у меня снова слёзы. Иду, реву, и Девка ревет. Кое-как доплелись до дому. Я ей тут же свежего сенца, хлебушка – отворачивается, не ест. Сразу легла, а к вечеру, гляжу, нехорошая чё-то у меня Девка, ох, нехорошая. Подняла я ей хвост: так и есть – рана, черви копошатся. Разворотил ей бычище всё на свете. Ах ты, чёрт рогатый, штоб тебя приподняло да ухнуло! А она, сердешна, прям-таки стонет, вот до чего ей больно. Ну, чё делать? Надо к ветеринару, к Витальке. К нам молоденькой ветеринар из городу приехал, хотя ветеринаров у нас давно уж нет – как совхоз разорили, так и нет, да и кого теперь тут лечить, окромя собак да кошек? Так они сами дохнут, без помощи ветеринаров. Виталька их и не касался, а так прохлаждался, воздухом дышал – у нас же бор, озёра кругом. Красота! На што жил – не знаю, но деньги у него водились, и в город иногда ездил: говорит – по службе, а уж кака така служба, не знаю, но возвращался всякий раз с деньгами. Гадали-гадали, кто он на самом деле, да бросили, хотя дед Епишка страшал нас, что бандит этот ветеринар, чистый бандит. Но уж такой опрятнай сам собой, такой тихой – не похож вроде на бандита. Сначала-то у нас жил. Потом переселился

к Груне – у ей отдельна пристройка есть, туда и пускат жильцов – летом к нам немало городских приезжат, вроде как на дачу. Ну, вот, переселился Виталька к Груне, так я то картошечки принесу ему, то огурчиков малосольных – один он, думаю, без отца-матери тут, кто б он ни был, жалко мне его: Груня-то не шибко разбежится подкормить, хоть есть у ей, но жадна – всё в погреб прячет, запасат, будто двести лет жить будет. Вот, думаю, дай, к Витальке схожу, пусть он посмотрит мою Девку. Может, чем пособит? Виталька согласился сразу, а чё толку? Клизму ей поставил, и все дела. Штоб тебя так лечили, как ты мою корову! Значит, путём не учился, не знат ничё, и в город ездит по каким-то тёмным делам, а вовсе он не ветеринар никакой. Эх, и што за люди пошли? Все с прорехами. Теперь вот по-своему её лечу. Айда-ка, хвост ей поддержишь, а я мазать буду.

Пока мы лечили Девку, отец с Кузьмой влезли на коровник, и у них бойко пошла работа. Починили крышу.

Закипел самовар. В летней кухне сварилась картошка, звонко лопаюсь белой кожей. За едой, за воспоминаниями и расспросами о ближней и дальней родне, как-то забылись веники, ради которых мы приехали. И только когда Кузьма, кряхтя и отдуваясь после домашней малиновой бражки, решил истопить баню, отец хлопнул себя по колену и засмеялся:

– Якирь тебя-то! Я ведь, Кузьма, не в баню приехал, хотя не откажусь! Я ведь за вениками. Лабзя-то жива ещё?

Кузьма сделал равнодушное лицо и стал сколупывать ягодное пятнышко с пиджака.

– А чё ей сделатся? Жива.

И, помедлив, ревниво взглянул из-под сивых – враслопырку – бровей:

– Поди, к Борьке пойдёшь?

Отец смутился. Ему не хотелось говорить об этом, и он с детства стеснялся перед Кузьмой своей дружбы с Борькой Горлопятом, которого Журавли не долюбливали, потому что отец Кузьмы не любил отца Борьки, Никишку, а дед Журавель – ненавидел деда Горлопята.

Отец, разоблачённый Кузьмой, покраснел, и, пряча глаза, стал оправдываться:

– С чего ты взял, что к Борьке? Лабзя не Борькина, слава Богу, что ж теперь, и веников не нарезать?

– Не ходи! – вскинулся Кузьма. – Я тебе своих дам. У меня на горище есть с десяток, с прошлого лета ещё, специально в дальний лес ездил, аж в самы Углы. Звери, а не веники!

– Не-е, Кузьма! – упорствовал отец. – Я твои не хочу! Ты их жидкими делаешь, а я люблю ясные. Я-то, вон какой против тебя, меня твой голик не проберёт!

– Иди, иди! Сонька-то Борькина тебя подъязвит!

– Чё подъязвит-то?

– А то! Змеюка! – Кузьма обиделся и отвернулся к окну, заклеенному мушиной бумагой. Но всё равно могучий хрящ его носа торчал клином и был хорошо виден. В нём хлюпали слёзы.

Смущённо покашливая, отец вышел из летней кухни, взял прихваченное из дома барахло: мешок, секатор, клубок шпагата, и мы пошли резать веники, пока не стемнело, потому что приехали ненадолго, и у нас был обратный билет на утренний шестичасовой рейс. Журавли ещё не знали об этом, и отец нарочно

молчал, чтобы не подливать масла в огонь. Кузьма теперь не скоро отойдёт, и отца мучила совесть.

Надо было идти по мосткам через дохлую Поганку, потом долгой песчаной улицей, увязая в густом, мокром песке. Накануне прошёл дождь. Но мне нравилось всё: и этот песок, и запах свежих опилок, прилетавший из окрестных усадеб. Там, видно, пилили дрова, потому что слышался басистый голос пилы и тупой стук колуна. Мне нравилось, что тёмный бор близко подходит к дороге, показывая свои чистые прогалы в рыжей хвое, оранжевые гроздья боярки и белобоких сорок, которые перекликались в гулких лесных залах. И всё же, не смотря на прелесть и новизну деревенских пейзажей, меня разбирало любопытство: почему Журавли не любят Горлопятов? Спросила отца. Он охотно откликнулся. Ему, видно, хотелось как-то стряхнуть с себя неловкость, которая вышла с Кузьмой.

– Горлопяты переселенцы откуда-то, и кровью не то татаре, не то хохлы, шут их знает. Чёрные больно, ну, и нрав, конечно. Говорят, Горлопяты раньше-то вроде бы по соседству с Журавлями жили, в глиняной развалюхе. Грязь в хате была, не дай Бог! Это уж потом, при колхозах, хорошая изба Борькиному отцу, Никишке досталась – отобрали у кулаков, а самих расстреляли. Так и эта дармовая изба вскоре грязью заросла. Никишкина жена, тётка Нилка, сроду отличалась ленью. Поперёк себя толще, дверь пришлось в избе надрубить, а то она не проходила. Она и детей мало рожала. От её неохоты они получались неживучими. Мокрели-мокрели что-то, как паршивые кролики, и вскоре помирали. Борька один выжил, но уж цепкость у него с детства – ого-го-го! В погреб как-то упал, так успел ухватиться за перекладину лестницы и так висел почти час, пока не нашли его. Кое-как пальцы ему расцепили – до того крепко держался. А самому три года только. Характер!

Двор у Горлопятов весь кривой да косой, бурьяном зарос, изба тоже в траве. Никишка ведь, да и дед Борькин, и прадед, говорят, никудышные хозяева были. Куры у них и те дохли. На родине у себя обнищали они вконец – вроде там тощие пашни, вот и поехали искать лучшей доли. В Боровках много переселенцев, мы и сами из-под Курска, чтоб ты знала. Вот и Горлопяты, подались в Сибирь – разбогатеть думали на хороших землях, но и здесь всё у них прахом пошло. Никишка всё больше по лесу шатался, охотился с ружьишком, а тётка Нилка спала до обеда. Потом окатится на плетень, глянет на соседей, что с ранья работают, и смеётся над ними:

– Тю! И шо робите, як бобики? Усе и так помрём!

Когда начались колхозы, тут Никишка и выдвинулся на передний край, как самый бедный и неимущий. Больше всех орал на сходах. И когда кулаков истребляли – орал. И когда врагов народа – тоже. Потом уж, умирая, позвал к себе Кузьму, вцепился ему в рубаху:

– Это я твоих бабку с маткой под ноготь! Вражины! Жалко, тебя не успел...

– А меня-то за что, я ж малой был? – удивился Кузьма.

– А всё равно кулацкий выродок, всё равно ты против власти!

– Зато ты молодец! Давай, теперь на том свете колхоз сколачивай, у чертей первым председателем будешь! – сказал ему Кузьма.

Затрясся Никишка, встать хотел, да опрокинулся и тут же умер. Это уж мне сам Кузьма рассказывал, об разговоре том.

Да-а, много Никишка за свою жизнь наворотил... Я сам помню, как собирали всю деревню в клуб. Набивался полный зал. Судили врагов колхозного строя, если, скажем, норму не выработал, или колосок с поля украл. Всё, враг! Тут же арестовывали, не давали даже проститься с семьей, с детьми. Никишка – главный судья. До того дошло, что даже жену свою, тётку Нилку, посадил. Она, правда, и в колхозе ленилась, работала через пень-колоду. Посадил! Остался один, с Борькой. А Борька дикий рос! Как-то собрался Никишка на охоту, осень как раз была, утиный лёт Борьку не взял. Мол, в школу тебе надо, какая охота. Борька отучился, примчался домой, схватил дробовик, да следом за отцом. Отца не нашёл. Где ж в лесу найдёшь? А тут уж и вечер подошёл. Глянул Борька – далеко он забрался, домой до ночи не поспеть. Влез на дерево, пересидел до свету, замёрз, как цуцик, слез и как раз напоролся на лесника с лесничихой. Сено они везли в телеге. Видят, Борька. А надо сказать, лесник этот в какой-то давней вражде был с Никишкиным отцом. Горлопаты ведь сроду со всеми враждовали. Ещё смолоду у Никишки с лесником шло сражение, и никак мир их не брал. Один другого стоил. Лесник-то всё норовил Никишку на браконьерстве поймать и прищучить, и отомстить, язвы тя в душу. Да Никишка хитрый был – если и паскудил, то аккуратно, не попадался в капкан. Ну, вот, а тут Борька, да без отца, чё ж его не припугнуть? Лесник и кинулся к нему.

– Стой! – говорят, ты арестован! Бросай ружьё!

Борька ведь на лесника с лесничихой наставил свой дробовик, а сам орёт:

– Только троньтесь с места, враз обоих уложу!

Он-то ближе к лошади оказался. Хлестанул её прикладом, она и рванула в лес, а лесник с лесничихой давай за ней бежать. Потом лесник-то в школу приходил, жаловался на Борьку. Его чуть не выгнали. Много времени прошло. Лесника волк задрал. Так Борька всё говорил, это уж мне Журавли передавали: «Лесничиха одна осталась. Я у неё лошадь подкараулю да убью, или дом спалю!» – Помнил обиду. Вот такие они, Горлопаты!

– Не зря Борис Журавлям не нравится! – поддакнула и я, но отец как-то неопределённо повёл плечами, высморкался на мокрый песок – аккуратно, по-деревенски – и добавил:

– Шут их знает, зря, не зря... Никишка ведь одно, а Борька – другое... И лошадь он у лесничихи не убил, и дом ей не сжёг, болтал просто. Напротив, помог сторожку починить, дрова рубил ей, она ж одна осталась, и была Горлопатам, вроде как, дальней роднёй.

Осуждали меня, что я с ним дружу. А как не дружить? В школе-то я когда учился, у Нюры жил, потому как в нашей деревне Сухой Лог не было школы, вот меня мать и отправила к Нюре, в Боровки. Нюра только-только замуж вышла, за Кузьму, в его колхоз, своих детей у них ещё не было, и всё мне доставалось: и лишняя миска щей, и самые большие картохи. Ну, так вот, стал я там в школу ходить. В классе у нас выделялись трое отличников: Борька, я, да ещё Яська Миклушевский. Яська среди нас самый первый из первых – светлая голова. Он не просто отлично учился, он предметы знал блестяще. Легко ему всё давалось, играючи. Я много занимался, чтобы от него не отстать. Бывало, так читаю – лампу в избе зажгут, сижу. Очнусь – в школу идти пора, а Нюра смеётся:

– Дурень! Народ уж из школы топает, вечерять я собрала, а ты токо собрался!

Вот так: ночь просидел, утро, весь день – всё за книгой. И с занятий иду – читаю. Когда и мимо своей избы проскочу, в книгу-то уткнуся. Я брал страстью.

А Борис – тот одним местом. Сидел упорно над учебниками, зубрил, но не хотел нам уступать. Если ответит на уроке хуже, чем мы с Яськой, почернеет весь, глаза кровью нальются, глядеть на него страшно. Не отстанет от учителей, пока и он не отличится. Вот такой был. Давненько мы с ним не виделись, а теперь захотелось... Я ж не столько за вениками приехал, сколько за детством своим... Наверно, стареть стал...

\* \* \*

Песчаная улица оказалась длинной. По обе стороны тесно стояли дома с не переменными палисадами, в которых яростно цвели малиновые и белые мальвы. Отец озирался, не узнавая деревенской окраины, да и мне она была внове. Раньше тут сплошь белела песчаная пустошь, по которой мы, ребягня, опасались ходить, потому что на песке темнели огромные следы какого-то чудовища.

В деревне нас окружало много разной чертовщины. За печкой в избе Журавлей жил Домовой, и мы то и дело находили клочки его серой шерсти. Боялись тёмного чулана, где Нюра держала ларь с мукой. Там обитала душа Мельника, утонувшего в Веснянке: его затянуло мельничным колесом в самый водоворот, и он захлебнулся. Пьяный был. Теперь от мельницы и следа не осталось. В огороде после оглушительной грозы с молниями находили мы чёрные стрелы неизвестного происхождения. Деревенские бабки утверждали, что это сгоревшие молнии. Они воткнулись в грядки с огурцами. Господь Бог метнул, хорошо хоть, ни в кого не попал, а то однажды пронзил мужика из Сухого Лога, так тот вмиг почернел и сгорел, и дерево обгорело, под которым он сидел. Имя мужика бабки не помнили, а вот дерево знали – старая сосна. Она теперь гудит выгоревшим дуплом, как начнёт задувать ветер. Так иногда воеет – хуже голодного волка.

Сосна эта стояла одиноко посреди поля – поодаль от леса, и была, говорили старухи, нехорошая: на ней девка обманутая повесилась, мальчонка опять же полез на верхушку да сорвался – разбился насмерть, а ещё, в Гражданскую-то войну, у сосны этой беляки партизан боровских расстреливали – следы от пуль до сих пор остались, хоть и затянула их горькая смола, а всё равно видать. Так что, нехорошая сосна, не зря её Господь пометил огнём. И про лабзю говорили: мол, водится там Чёрный Ангел, птиц ест и людей пугает.

Песок всё не кончался.

– Где же изба Горлопяти?

– Раньше они на отшибе жили, – сказал отец, – Как раз возле берёзовой лабзи.

Туда сроду никто не ходил. Веники резали в другом месте, за три километра от деревни, в чистом колке. Потом колок вырубил, построили там двор мехколонны, от которой остались теперь одни руины. Да, похоже, и не парятся нынче в Боровках – ко всему что-то вкус потеряли. Кузьма один остался...

Наконец, показались три высоченных тополя и возле высокого заплота бревенчатая коробка нового сруба без крыши.

– Ага! – засмеялся отец. – Борькина причуда! Он сынов своих так испытывал: ежели сам сруб поставит – значит, мужик! Теперь, видать, внуков экзаменует.

Хорошие тесовые ворота были накрепко заперты. У Журавлей-то и двери в избе на щепочку только закрываются – нигде никаких запоров, хоть и опасно нынче без них. А тут – прямо крепость. Отец в нерешительности постоял перед



воротами, потом слабенько стукнул. Во дворе залились два пса: один – басом, другой – колокольчиком. Долго никто не показывался, и мы уже собрались идти к лабзе, которая маячила за домом тёмной яминой в ослепительно-белых берёзах. Тут и вышел к нам Борис Горлопят. Густо-смуглый, с выгнутым, хищным носом, в меховой безрукавке. На правой руке три пальца отхвачены и он красными култышками совиные брови себе расправляет, а они всё топорщатся, не слушаются его. Через минуту отец и Горлопят узнали друг друга, кинулись обниматься. Отец всё приговаривал:

– Якирь тебя-то, Борька! Якирь тебя-то!

Глаза у него повлажнели, и у Горлопята растаяли в острых зрачках стальные опилки, открылись прекрасные карие очи в густейших, словно натёртых сажей, ресницах. Загнутых, девичьих. И лицо преобразилось, осветилось белозубой улыбкой, отчего смуглота его стала привлекательной, тонкой. Он говорил, смягчая «г», как делают на Украине или в южной России, где-нибудь на Дону.

И вот мы сидим за широким столом в доме Горлопяти, и хлопочет хозяйка, гундосая Сонька. Она всю жизнь страдала полипами и говорит потому ватно, в нос, жалуясь на свои недомогания, хотя бегают по дому бегом. Сам Горлопят тоже жалуется на сердце и печень, просит достать в городе «Медицинскую энциклопедию», но потом забывает о ней, хвастая трофеями. Он на зиму нанимался охотником в «Заготпушнину».

– Вот, сруб у дома видел? – сверкает он на отца стальными зрачками. – Это мой младший внук, Серёжка, сварганил! Мастеровой парень растёт. Оттащу в лес, сторожка будет. Я ведь эту зиму сто беличьих шкурок сдал, не смотря, что калека. – И он показал свою изувеченную руку. – Семьдесят пять штук – попал в глаз, двадцать пять – с дробинкой в шее. Дырочки-то в микроскоп только разглядишь, а всё ж забраковали. Что ж, справедливо! Многие ведь мухлюют: шапки шьют, продают шкурки на сторону, подороже, чем государство берёт. А я – нет. Всё честно сдаю.

Он ещё много говорил об охоте и о деньгах, всякий раз стараясь подать себя с выгодной стороны. Сонька потчевала нас вареньем из лесной земляники, солёными грибочками, свежими салатами и домашней колбасой – всем вперемешку. Стол уже был заставлен так, что скатерти не видно, а она не унималась, гундосила-ворковала:

– Ешьте, ешьте, пробуйте, всё своё!

Горлопят с гордостью поглядывал на стол и говорил:

– Много всего, людям раздаём – ради хорошей памяти.

И он подробно перечислял, кому и сколько давали нынче, да прошлой осенью, да три года назад.

– Мать, ты фельдшерице-то отнесла ли барсучий жир?

– Отнесла, а то как же! – поглядела на Горлопята с испугом жена. – Да только она в дом не впустила, дверью хлопнула.

– А взяла?

– Взяла...

– Ну, и ладно! – успокоил её Горлопят, а нам пояснил: – Люди ведь добра не понимают. Есть, которые, брать от нас берут, а не здороваются.

– Журавли так и не берут, – тихо вякнула жена, но Горлопят сверкнул на неё стальными зрачками, и она стушевалась, юркнула на кухню, и вскоре притащи-

ла оттуда громадную сковородку жареной картошки, щедро политую яйцом на молоке, посыпанную зелёным луком.

Когда, тяжело отдуваясь после обильной еды, вышли мы в широкий Горлопятовский двор, тут Борька вовсе расхвастался, то и дело распрямляя култышками совиные брови: демонстрировал нам своё образцовое хозяйство. Видно, природа решила выправить ленивое Никишкино семя. Двор у Борьки был залит асфальтом, за домом тянулась, словно по ниточке выложенная, чистая дровница:

– Я углем не топлю, только берёзой! – пояснил Горлопят.

Колодец включался нажатием кнопки, и по жёлобу тут же текла в ковшик вода, сладкая на вкус и лёгкая, промытая песком. Погреб напоминал бункер для спасения от атомной войны, одетый в бетон, с обитой жестью дверью, с каменными ступенями в холодное нутро, где стояли деревянные стеллажи и хранились банки с маринадами да соленьями. Была и картофельная яма, и песок для моркови, и ниши для другой огородной снеди, и даже ледник, присыпанный опилками.

Отец с интересом разглядывал хозяйство Горлопята, входя в подробности.

За домом простирался огород. Именно простирался, столь он был велик. У огородного плетня крутились две охотничьих собаки на белку: спокойный, рассудительный Рыжман, и полуторогодовалый, свирепый Трезор. Он рвался с цепи, скалил жёлтые клыки, душил себя ошейником, роняя пену. Горлопят пригрозил ему:

– Трезор, на охоту не возьму!

Он тут же, скуля, залез в конуру и глядел в круглое окошко с лестью на хозяина, а Рыжман сидел рядом, дружелюбно поглядывая на гостей, и голову держал высоко, твёрдо, будто был выкован из меди: огненно-рыжей масти, гладкий, с коричневыми подпалинами.

Я утомилась экскурсией по двору и непонятными мне разговорами о преимуществах отдушины перед стекловатой. Горлопят заметил мою скуку, остро стрельнул стальными зрачками и убежал в амбар – добротный, бревенчатый, как изба. Он вынес оттуда, потряхивая на весу, барсучью шкурку. Повернул её на солнце – блеснули серебряные ворсинки. Согнутым пальцем щёлкнул по волосяным воронкам, делая волну, и небрежно бросил к моим ногам:

– Бери! Дарю!

Я растерялась:

– Что вы? Зачем? Не надо!

– Бери, тебе говорю! – нарочно рассердился Горлопят. – Сноха просила на шапку, так я не дал: и так добра сверх головы, пусть в лисе ходит. А этот барсук – первый у моего внука! Серёжж, иди сюда! – крикнул он куда-то за дом. Оттуда вынырнул чернявый мальчишка, лет тринадцати – уменьшенная копия самого Горлопята: и нос его – хищный, и глаза уже со стальной крошкой, и брови торчат непокорным козырьком.

– Вот, внучонок мой! Прошлой осенью пошли с ним тут недалёко, в ближний лесок. Я ещё с лета выворотень заметил, а под ним барсучью нору. Барсука тоже видел: хорош зверь! Жиру в нём, дай бог! Взяли мы с собой батик – дед мой с ним ещё ходил, с тех пор и живой. Да вот, гляньте!

И Горлопят извлёк из-за амбарной двери тёмную палку, лоснящуюся от времени, будто полированная, с удобным комлем для руки и в лёгких, благородного рисунка, буграх. Мы пощупали и похвалили батик.

– Ну, значит, идём с Серёжкой, видим: сидит наш барсучина возле норы, чистится. Не успел я оглянуться, Серёжка мой и огрел его батиком. Барсук удивлённо так повёл на нас головой, лапами дёрг-дёрг, а Серёжка не растерялся, да опять его трахнул, добил. Чистая работа, нигде никакой прорешки нет!

И Горлопят снова повёл согнутым пальцем по волосяным воронкам, присев на корточки перед брошенной к моим ногам барсучьей шкурой. И тогда мне показалось, барсук оскалился, хотя морда его была расплющена, лишена челюстей а вместо глаз зияли узкие пустые прорези.

Я увидела, как серебряной волной катится сытый барсук по зелёному полю, и по спине его вьётся тёмная полоса, открывая нежный белый подшёрсток. Маленькие ушки прижаты к умной, вытянутой голове и глаза зажмурены от счастья. Барсук кувыркается в летней муравке, подставляя горячему свету тёмное брюхо, вздрагивающее сине-зелёными радугами. Повизгивает и видит над собой огромные розовые шары клевера, гигантские, липкие лапы курослепа, поймавшие неуклюжего шмеля, кокетливые губки мышиного горошка, и волосатые, зелёные хвосты хвощей. Они покачиваются, подают какие-то тайные сигналы барсуку, и он старается вдуматься в них, но его отвлекает чёрно-красная бабочка. Она норовит сесть ему на весёлый широкий нос, и от этого барсук оглушительно чихает. С бабочки осыпается мелкая пыль, вьётся белым облаком, и превращается в воздух.

Я отворачиваюсь от барсучьей шкуры, безжизненно распростёртой на земле. Мне нехорошо на этом дворе, рядом с Горлопятами.

Отец, наконец, заметил мой кислый вид, и стал собираться:

– В лабзю ещё надо, Борис! Веников нарезать, мы ведь за этим приехали...

– Спасибо, что зашли, не забыли... – Нахмурил совиные крылья бровей Горлопят. Спрятал свои ослепительные зубы, и снова стал неприятен, тёмнен лицом. Барсука свернул рулоном и спрятал нам в мешок, отогнав Серёжку, который рванулся, было, к своей добыче.

– Цыц! Иди вон, собак покорми! – прикрикнул на него Горлопят. Мальчишка покорно поплёлся, но когда мы уходили, я почувствовала, будто мне в спину камень бросили. Обернулась: Серёжка глядел из-под совиных бровей с ненавистью.

\* \* \*

Лабзя гудела от комаров. Отец приказал мне голову обмотать платком, чтобы не так жалили. Сам раскатал рукава клетчатой рубашки, натянул на сивые кудри лыжную ермолку и полез в самые дебри. Я осталась на бугре: склоны лабзи ярко желтели от вылезших после дождя маслят. Они лепились друг на друга, влажно поблескивая в темной ведьмячьей траве, были и совсем крошечные, с ноготок, а встречались иногда такие чумацкие, жёлтые шляпы, что я только ахала. Быстро набрала полный фартук. Отец смачно резал секатором берёзовые ветки, собирал в пучки и выволакивал на бугор, отбиваясь от коричневых хвостов гнуса. Вся спина его была в шевелящемся панцире комаров, густо налипли они и на шерстяную, белую ермолку. Обмахнувшись веткой, отец отошёл к соснам передохнуть, я примостилась рядом, стала очищать собранные грибы

– Как раз Журавлям на жарёху! – похвалил меня отец. – А то они там, поди, извелись из-за Борьки.

И он с грустью поглядел в сторону Горлопятовского подворья, которое издалека казалось особенно опрятным, ненастоящим, как бывает на картинках домашних

художников, старательно вылизанных кисточками. Мы сидели молча. Я отца ни о чём не спрашивала, чистила грибы, отшвыривая червивые. Он сам заговорил:

– Ты обратила внимание, какая жена у Бориса?

– А что? Жена, как жена, ну, гундосая.

– И вот сроду такая была. Борька-то, вон, какой красавец, а Сонька... Но дело даже не в этом. Она ведь его сгубила. Она!

– Да ну! – не поверила я. – Такая добрая на вид...

– То-то и оно, что на вид. В тихом болоте, сама знаешь...

И он непримиримо поглядел на сырую лабзю. В чаще слышался шум больших крыльев, возня, кто-то кого-то ловил, душил, смертная тоска была в птичьем плаче, она сменилась торопливым чавканьем, кто-то давился пищей, стонал, царапал землю. И вот тяжело пролетел между чёрными стволами белый ангел. Медленно проплыл, лениво. Я ещё подумала: «Что это стволы-то чёрные? Ведь берёзы...» И догадалась: «А-а, это негатив! И не белый ангел пролетел, а чёрный... Чёрный Ангел, о котором бабки в детстве нам говорили... Он это... »

– На вид! – совсем уже рассердился отец. – Сроду она страшная была, Сонька-то, да ещё гундосая, а уж как по Борьке сохнуть стала, так и вовсе: сущая Баба Яга.

Мы-то с Яськой рано начали девочками интересоваться. Яська беленький был, природный блондин, и сам быстрый, находчивый на язык. Я против него увалень, верзила, но и у меня девчонки были. А Борис их сторонился. Весь интерес у него в охоте, да чтобы в учёбе нас с Яськой перегнать. А красавец настоящий, не то, что мы с Яськой, да ещё и теперь в нём это осталось, былая красота. Как он тебе на вид?

– Интересный мужчина.

– Вот и я говорю: красавец!

Перед войной мы уехали в город. Мы с Борисом поступили в строительный техникум, а Яську взяли в институт, на физмат. И гундосая Сонька следом прикатила. Устроилась секретарём в суд. Тогда мы ещё крепко дружили. Сходились каждое воскресенье у Соньки – она снимала в городе угол. Поила нас чаем, ну, и подкармливала, конечно. А тут с Яськой несчастье. В общежитии, где он жил, комендант был, бывший чекист. В кителе и сапогах расхаживал, усы рыжие, как у Сталина. Сам, между прочим, такого же небольшого росточка и волос назад зачёсывал. Правда, мы все тогда носили сталинскую причёску, я тоже. Особенно гордились, у кого чуб чёрный с рыжинкой. У коменданта именно такой. Фамилия у него смешная: Недобой. Ефим Семёнович Недобой. На всю жизнь её запомнил...

А молодёжь, хулиганить охота. Выдолбили тыкву и на блоках подвесили к двери отхожего места. Как только дверь открывается – тыква надевается на голову. Выдумка была Яськина. Он любил шкодить, с детства такой. То как-то бочку с квасом укатил из центра города к общежитию, и студенты её мигом выдули. То одного пьянчужку положил в гипсовый вазон, которых тогда в изобилии было понатыкано по всему городу. Проспался бедняга, а вылезти не может, сидит, как Дюймовочка в цветке, плачет. Милиция его снимала с лестницей. Ну вот, а тут тыкву придумал – мы в деревне так делали.

Недобой Ефим Семёнович обходил свои владения, резко дёрнул дверь отхожего места, и тыква долбанула его по башке, а потом плотно наделась ему на голову. Сам маленький, а голова большая у него, как котёл-ермак. Еле снял.

Началось «Дело». В ходе расследования дошли, конечно, до Яськи. Доказали его вину. Недобой лично сделал обыск в его тумбочке в общежитии и обнаружил тайную тетрадь. Мы с Борькой и то не знали о ней. В тетрадь эту Яська записывал свои мысли, и среди них было вроде кое-что о Сталине. Мол, Сталин по своим замашкам и методам правления – настоящий тиран, и что он предал свой народ. На суде Яську спросили:

– Кто вам внушил такие идеи?

А Яська:

– Никто! Я сам додумался.

– Врёшь! – ему сказали. – Кто тобой руководил, говори!

А Яська опять спокойно отвечает:

– Никто, я сам!

– Ах, сам! Так вот, сам и получай!

Припаяли ему большой срок. Припомнили и то, что он из семьи ссыльных. Правда, сослали когда-то в нашу Сибирь Яськиного деда, Якова Миклушевского, ещё при царе-батюшке. Миклушевский участвовал в какой-то студенческой демонстрации против царя, дело было в Петербурге, Миклушевские там жили, но ведь когда, а всё равно припомнили: мол, все вы, Миклушевские, ненадёжный элемент. Борис суетился, собрал узел, куда запихал свой тулуп, катанки и стёганные штаны. Яське! А я побежал к Соньке:

– Сделай что-нибудь!

Сонька всё уже знала, накинулась на меня:

– Не бегай и не высовывайся, а то тоже загремишь, понял? Твой зять из кулацкой семьи, не забывай. И ко мне чтоб не ходил. И так дёргают, что дружила с врагом народа, чаями поила. Я отреклась от него, показания кое-какие дала...

– Какие показания, что ты мелешь? – опешил я.

– Какие надо! – отрезала Сонька, и захлопнула передо мной дверь с табличкой: «Секретарь суда».

А потом началась война. Нас с Борькой отдельно призывали – я старше его. После уж узнал, что Борька не доехал до фронта, под бомбёжку попал. Так ли, нет – шут его знает, только вскорости оказался он в госпитале, где ему отняли три пальца. Журавли говорят, сам себе отстрелил, чтоб на фронт опять не взяли. Самострелы тогда бывали. Редко, но бывали. То-то он всё любил рассуждать, первые-то годы после войны, как встретимся: мол, неохота ему было на фронт, убивать не охота, будто нам охота... И умные, говорил, те, кто подальше в лес ушли, спрятались и жили там, не замарав себя кровью.

Сонька пропала возле него в госпитале. Через свой суд документы ему какие-то выправила, чтоб его комиссовали. Мужиков судейских всех на фронт позабирали, так она там за судью осталась, хоть образования у неё никакого, но бумажки писать умела, и всюду у неё блат был, и в военкомате тоже. А когда с Борькой всё дело провернула, увезла его в Боровки, и замуж за него там вышла. Добилась своего! По бумагам Борька чистым выходил, а всё равно люди его сторонились. Тут всё на виду, и свой суд, не Сонькин. Тогда-то Горлопята и поставили себе дом у лабзи. Ото всех в сторонке, на отшибе...

Я на Прохоровском Поле в танке горел. Яська харкал кровью в Магадане, там он раздобыл свой туберкулёз, от которого потом и спёлся. Вернулся восковой, прозрачный, спина горбом, и больше мы смеха его не слышали. Всё сидел, в

угол глядел да какому-то тёмному Богу молился – в лагере втянули его в секту. Боровки тогда сильно обезлюдели – кто в лагерях, кто на войне погиб. А Борька, выходит, хозяйство своё поднимал, в охотники подался, хоть и без пальцев, Соське сынов наделал, натаскивал их срубы ставить да зверя батиком забивать. Теперь вот внуков учит...

Говорил отец, и видно было, сам удивлялся, будто теперь только, на старости лет, дошло до него, кто такой есть друг его детства, Борька Горлопята. И он никак не мог опомниться, согласиться с этим открытием. Всё валил на его жену, Соську:

– Соська во всё виновата. Она добрая, как же! На вид... Вот именно, на вид. На вид все добрые...

И тут же спохватился:

– А хозяева хорошие, этого у них не отымешь! Что есть, то есть. Тут спорить нечего. Хозяева! Не в Никишку Горлопята.

Когда мы шли назад, снова мимо двора Горлопятов, я вынула из мешка барсучью шкуру и повесила на их бревенчатый заплот.

– Зачем? Обидятся, – сказал отец.

– Ну, и пусть!

\* \* \*

Возвращались мы уже в сумерки. Журавли сидели на лавочке возле палисада и терпеливо поджидали нас. Отец нёс мешок с вениками, а я придерживала на животе фартук с маслятами.

– Ну? Чё там Горлопята? – Ещё издали закричал Кузьма. Отец, пыхтя, сбросил мешок к калитке, сел тоже на лавочку, и начал по порядку описывать дом, погреб и огород Горлопятов, одобрительно покачивая головой и выставя большой палец:

– У них всё вот так!

Кузьма хмурился, ёрзал и кричал через слово:

– Брехня! Нет у Борьки ничё! Никишкино семя! Нет ничё!

Отец смеялся:

– Да как же нет? Кабы я своими глазами не видел, так тоже бы не поверил.

Кузьма тогда нашёлся:

– А у них плетень, который к лесу, негодный!

Плетень и впрямь на задах Горлопятовского огорода покосился. Соседский парнишка наладился из него палки тягать. Пошлют его в лес за топкой, а ему лень – он у Горлопятов ограду курочит. Горлопята спускал на него Трезора – ну, и что? Всё равно курочит. Горлопята жаловался нам: мол, несколько раз чинил – всё без толку. Настырный парнишка, чтоб ему!

Отец согласился:

– Да, ограда у Борьки негодная!

Кузьма обрадовался:

– Вот, видишь! Я ж говорил: нет у него ничё! Брехня одна!

\* \* \*

Баня была уже готова, и, дымя трубой как пароход, плыла по зелёным волнам луговой травы. И парились мы свежей берёзой. А мне всё казалось: сгущается

болотный, тяжёлый дух вокруг лохматых березовых прутьев, и деревянный пол, горячий от банного пара, вот-вот развернется хищной лабзей, поглотит и нас, и Боровки, и весь белый свет, и Чёрный Ангел колыхал крыльями.

Было это в начале девяностых. Поездка для отца оказалась последней. Вскоре отца не стало, и Журавлей не стало, и Горлопят ушёл. А тогда все были живы, и не отпусало их прошлое...

## КУНСУЛУ

Аул Дальний со всех сторон окружала ржавая пустыня. Когда задувал афганец, мазанки по самые крыши заметало песком.

Все жители аула были густо-коричневого цвета от этого песка и жгучего солнца. На взгляд белых европейцев, которые проезжали мимо аула, степняки на одно лицо, и уж, конечно, совершенно некрасивы. Есть у европейцев такая спесь! Однако это не так. Степняки легко различали друг друга, более того, угадывали мгновенно, кто из какого рода, а в ауле Дальнем жила красавица по имени Кунсулу, то есть – Красивая, Как Солнце, или Равная Солнцу.

Красота Кунсулу заключалась в огромных синих глазах. У остальных-то щёлки, чёрные, как ночь в пустыне. Кроме того, роскошные волосы Кунсулу отливали рыжеватыми искрами, будто в них горело солнце, с которым у девушки была магическая связь.

На рассвете и на закате, когда старики бросали в песок молитвенные коврики и обращали свои коричневые лица в сторону Мекки, Кунсулу забиралась на плоскую крышу мазанки и тоже смотрела на солнце, но не молилась. Просто сидела и смотрела. В эти минуты становилась она совершенно глухой и немой. Никого не слышала и ничего не говорила.

Однажды из глубины пустыни, из барханов прилетел на золотом коне Каскырбек-богач. Он занимался барымтой – скот воровал. Промысел в степи древний и опасный. Каскырбек-богач влюбился в Кунсулу, он хотел жениться на ней, и прискакал сказать ей об этом. Осадил Каскырбек-богач золотого, ворованного коня у мазанки красавицы.

– Эй, Кунсулу! – крикнул он, – Слезай, давай! Слезай, разговор есть!

Но Равная Солнцу не слышала его. Она глядела на огненный диск, и волосы её вспыхивали рыжеватыми искрами, и синие глаза были широко раскрыты. И входило в неё солнце, и горело в ней, как огонь в пустом сосуде, и заполняло её по самые края. Ведь если почему-либо Кунсулу не глядела на солнце, то слабела, теряла силы. Она должна была глядеть!

Каскырбек-богач, потный от быстрой скачки, начал терять терпение. Конь плясал под ним, выбивая в песке глубокие лунки. Но Кунсулу была неподвижна.

Рассерженный жених полез на крышу и стал стаскивать Кунсулу вниз, но некая сила так толкнула его, что он побледнел, насколько только может побледнеть густо-коричневый степняк, и скатился с крыши круглым камнем. Упал в песок, подняв тучу пыли. Золотой конь от испуга сорвался с места и унёсся в барханы. Больше его не видели. Что ж, ворованное, оно же, как ветер: легко пришло – легко уходит.

С тех пор Каскырбек-богач никогда не отвлекал Кунсулу от созерцания солнца, и терпеливо ждал, когда она спустится с крыши.

На этот раз Каскырбек-богач прискакал на белом коне, тоже ворованном. К счастью, Кунсулу не сидела на крыше, так как было время между восходом и закатом, когда весь аул пил чай. Каскырбек-богач приехал сватать Кунсулу. Он бы мог её, конечно, украсть, как лошадей крал, но всё же решил поступить по обычаям, и потому обратился к дальней родне Кунсулу, потому что ни родителей, ни ближней родни у неё не было. И он её сосватал, и даже заплатил хороший калым, под одобрительные возгласы аула:

– Повезло девке! Завидный жених, богач!

И, конечно, была бы шумная свадьба, и аул от души наелся бы мяса, напился кумыса и наслушался песен под домбру охотника Мергена, если бы не печальный случай.

\* \* \*

Каскырбек перегонял краденый скот в Узбекистан, чтобы сбыть там скупщикам, выручить много денег и устроить пышную свадьбу с Кунсулу. Скупщики ждали его в условленном месте. Место было глухим, заброшенным, и плохо охранялось, особенно, ночью, и Каскырбек не единожды пригонял туда скот. Но на этот раз, будто с кривой луны упали, выросли перед Каскырбеком узбекские пограничники и приказали сдаваться. Он взвизгнул, как раненый волк, ударил пятками чёрного коня – белый от него тоже ушёл – и помчался в родные пески, бросив скот. Один из пограничников выстрелил, и пуля догнала контрабандиста, и он упал с коня – лицом в голубые колочки, и кровавой звездой, растекаясь лучами, на спине у него, прямо под левой лопаткой, ожило пятно. Оно быстро почернело и запеклось. В то лето стояла такая жара, которая не остывала и ночью. Говорят, такой жары здесь не видели уже сто лет.

Потом был долгий спор между узбеками и степняками: законно ли поступил узбекский пограничник, который стрелял? Аул Дальний вышел на митинг протеста. Припомнились и другие обиды, нанесённые соседями. Назревал международный скандал с непременным в таких случаях избиением узбеков, живших на степной территории, и избиением степняков, живших в Узбекистане. Но конфликт уладили. Старики аульные между собой решили, что всё-таки Каскырбек вор и разбойник, и узбеки правильно его подстрелили, хотя тоже разбойники, но вслух этого никому не сказали, потому что остальной аул считал барымтыча героем: своих он не трогал.

С воплями похоронил аул Каскырбека, заставляя вопить и Кунсулу. Но она молчала. Она сидела на крыше мазанки, глядела на солнце и молчала. Когда солнце скрылось за барханами, зарывшись глубоко в песок, как золотая ящерица, Кунсулу спустилась к людям и спокойно сказала:

– Что вы так вопите? Разве человека убили? Убили волка, каскыра. Но он жив!

– Как жив? – не поверили люди, думая, что Кунсулу от горя умом тронулась, или опять чудит. – Мы же только что закопали Каскырбека...

– А так и жив! Волки бессмертны и охотники тоже!

– Ну, и шутница! – отмахнулся от неё аул, и поспешил к дастархану: стынет поминальное мясо!



\* \* \*

А надо сказать, не смотря на свою периодическую задумчивость, была Кунсулу весьма весёлой хохотушкой и выдумщицей, готовой на разные проказы.

Кроме неё в ауле Дальнем сидели на выданье и ждали женихов ещё пять девушек: Культай, Назира, Амина, Хадиша и Алтын. Не такие красавицы, как Кунсулу, то тоже особенные.

У Культай – ноги длинные, как у самого породистого жеребёнка. У Назиры – косы до пят, и такие густые, что если она начинает их мыть, то дня три моет. У Амины – ямочки на щеках, они делали её особенно миленькой, когда она смеялась. У Хадиши – грудь, как два высоких бархана, с вершинами-остриями. У Алтын – характер кроткий, золотой, потому и звали её Золотко.

Как-то к ним в пески приехали столичные киношники. Хотели снять дикую природу и показать всему миру, где дикой природы уже почти не осталось. Киношники были экзотичными: в цветных татуировках на мускулистых руках, головы повязали пёстрыми косынками-банданами, на шею тоже платки женские нацепили и по серьге в ухе. Но сами-то молодые, видные парни, и девушки заглядывались на них, а парни сманивали девушек в барханы. Однако аул зорко следил за девушками и столичными гостями, и старики строго осаждали молодцов:

– Сначала женитесь, потом можно хоть в барханы, хоть в марханы!

Гости обещали подумать и посоветоваться с родителями. Это понравилось старикам, а невесты аульные стали ждать сватов из столицы. Тут-то весёлая Кунсулу и разыграла дурочек. Нарядила как-то пять баранов в банданы, повязала им на шею пёстрые платки, и по бумажному цветку приделала – ну, чем не женихи? Крикнула невест:

– Эй, Культай, Назира, Амина, Хадиша, Алтын! Выходите скорей, к вам свататься приехали! Из самой столицы! Выходите!

Выскочили девушки из низких мазанок, а бараны как заблеют им свои приветствия. Хохочет Кунсулу, заливается, улепётывает в барханы от обманутых невест.

Но тут, как убили Каскырбека, и она заскучала. И решила податься в город, вместе с подружкой, с кроткой Алтын. Сняли квартиру у знакомых, которые давно в городе жили, торгуя на базаре кумысом и куртом. Алтын устроилась санитаркой в психиатрическую клинику, а Кунсулу – в Большую больницу, в отделение травматологии, и тоже санитаркой. Вскоре Алтын вышла замуж – за могучего медбрата, который легко скручивал буйных психов, макая их головой в унитаз, а с Алтын был робок и нежен, как первый снежок. Так что, не зря приехала в город Золотко-Алтын.

Кунсулу ещё не встретила своё счастье, но верила, что встретит обязательно, хотя городские смотрели на неё свысока и обзывали «мамбеткой». Она уже так хотела замуж, что готова была пойти за первого встречного. Ей даже разбойник Каскырбек стал сниться, и во сне предлагал разные непристойности, и она соглашалась – во сне, а наутро себя стыдила, но сны всё равно снились.

А пока – пока мыла полы с ядовитой хлоркой, выносила утки из-под лежачих больных, ставила клизмы, растирала пролежни и терпела придирки сестры-хозяйки, тётки огромной, грубой и властной. Звали ей Акмарал – то есть, Белый Олень.

Белый Олень обходила палаты со стерильной салфеткой и проверяла, нет ли где пыли, всё ли чисто протёрла черномазая Кунсулу? Но Кунсулу её не боялась. Прячась за широкой спиной Акмарал, она передразнивала её: напускала на себя важный вид, выпячивала живот. Живот у Акмарал всегда первым входил в двери.

Кунсулу и с больными перешучивалась, за что её любили и часто угощали то чаем, то конфетами и фруктами.

Например, она придумала отходы организма называть так: если малая нужда, то это «мины», если большая – «бомбы». Военная терминология была не случайной, ведь в Большой больнице многие лежали с ранениями и такими травмами, будто поступили с фронтов, из горячих точек. В кого-то стреляли бандиты боевыми патронами, кого-то взорвали конкуренты по бизнесу, кто-то напоролся на нож в пьяной драке или пострадал в любовной битве, и лежал с лицом, разворочённом «розочкой» – осколком бутылки. И вот слышно, как из мужской палаты, басом, кричит здоровенный мужик, Барыс:

– У нас бомба! Скорей, бомба!

Посетители вздрагивают, пугаются: думают – теракт.

\* \* \*

Барыс попал в травматологию, потому что выпал из окна пятого этажа. А выпал потому, что его сманили в полёт зелёноволосые девы. Они то и дело появлялись в разных углах квартиры, где он жил с крикливой женой Жадрой и четырьмя детьми. Все дети не от него. Это Барыса мучило, и он пил. Девы были прекрасными, как небесные перы, с голыми животами. Пупки их украшали блестящие жемчужины, а на запястьях – серебряные браслеты в виде змей. И сами девы извивались, как змеи, сладострастно и медленно. Они, танцуя и поблескивая жемчужными пупками, продвигались к окну и манили за собой Барыса, и вскакивали на подоконник, и снова манили. Его полёт с зелёноволосыми девами всякий раз останавливала крикливая жена, и он её бил, и материл по-русски, что особенно её унижало. Девы хихикали, наблюдая семейный скандал, но не вмешивались, знали: всё равно обхитрят крикливую жену. И обхитрили. Уехала она к матери в пригород на выходные. Но Барыс догадывался: к любовнику подалась, от которого у неё дети, к женатому прохвосту Турару. В школе вместе учились: Турар, Барыс и крикливая девчонка Жадра, была ещё её подружка, мечтательная Лейла, из параллельного класса. Барыс ходил по пятам за пухленькой красоткой Жадрой, Жадра сохла по Турару, а Турар влюбился в Лейлу, тощую и глупую, которая мечтала о парнях из музыкальной группы «Иванушки Интернейшнл». «Ах! – вздыхала она, – Вдруг я внезапно умру, и никогда не увижу «Иванушек»? Это так ужасно!» Но где «Иванушки» и где Лейла? Мечтай, не мечтай, а надо выходить замуж. За всю группу «Иванушек» замуж никак не выйдешь, и она вышла за водителя Турара. Но всё равно, Турар был не простой водитель: он возил самого главу их района! А ещё – хорошо пел. Хуже, конечно, чем «Иванушки», но тоже громко.

Жадра проливала горькие слёзы, проклинала подружку, да что делать? И она пошла в неволю – к увальню Барысу, продолжая любить Турара, и добилась его, и жила с ним тайно, но и Лейла, и Барыс знали о связи Жадры с Тураром. Лейла терпела, ведь у неё не было детей, а Жадра родила от Турара четверых. Лейла терпела, а Барыс не терпел.

И вот, уехала Жадра снова к Турару, хоть сказала – к матери, тут-то девы и обступили Барыса, и танцевали снова, и манили к окну. И сманили. Влез он на подоконник, раскинул руки и устремился за девами. И вот теперь лежал в травматологии со сломанными ногами и ключицей. Рокотал на всё отделение:

– Бомба! У нас бомба!

Кунсулу бежала на его призывы. Ликвидировала «бомбу», отбирала у Барыса ватки, смоченные спиртом. Они оставались от уколов, и Барыс их жевал.

Кунсулу жалела пьяницу, делилась с ним дарами пациентов. К нему никто не приходил. Крикливая жена отказалась от него. И как только Барыс встанет на ноги, его отправят в психушку. Всех самоубийц туда отправляют.

– Ничего, не горюй! – утешала его Кунсулу. – Там тоже девы есть, даже лучше, чем твои зелёноволосые. У меня подруга, тоже из нашего аула, в психушке работает, так она говорит, у них там медсестра, прям, рахат-лукум! Тебе понравится. И, главное, холостая.

– Только чтобы красавица, полненькая! – басил Барыс, – Чтобы курдюк у ней вздрагивал, как масло, когда хлопнешь!

– Конечно, будет вздрагивать, о чём разговор. У них там конкурс красоты был, так она стала «Мисс Психушка», как раз за курдюк! – врала шутница Кунсулу.

– Тогда ладно, – загорелся Барыс. – Я красивых люблю, таких, как ты. Вот, вес наберёшь – женюсь!

Кунсулу хохотала, стреляла синими глазками:

– Да ну тебя! – и убежала на призывы других палат, где появлялись то «мины», то «бомбы».

Но когда на закате против больничных окон вставало красное солнце, Кунсулу замирала, глядела на огненный диск, и дозваться её в эти минуты не могли ни больные, ни сердитая сестра-хозяйка Белый Олень, ни врачи. Кунсулу никого не слышала и не отвечала ни на чьи призывы. Так стояла она у окна, обведённая золотым контуром, и смотрела на солнце, и наполнялась им, и сияло оно внутри неё, как в полном сосуде сияет огонь.

Кунсулу считала, всё дело в её имени. Вот не назови её родители Кунсулу, она бы не стремилась к солнцу, подобно белому цветку адраспана. Упорно пробивает он огненные барханы, расцветает по весне дикими цветами, рассеивает семена по морщинистому лику песчаного океана.

Солнце медленно гасло, оседало серым пеплом, истаивало в вечерних сумерках, пока не превращалось в лёгкую дымку, в туман, в тонкий след. След этот прочерчивал огромное небо над горами. Он напоминал последний вздох умирающего. Кунсулу вздрагивала от этого судорожного глотка воздуха. Синие глаза её наливались слезами, и сама не зная, отчего, она начинала плакать. Утешать её было бесполезно. Она плакала ровно пять минут. Потом так же внезапно, как начинала плакать, успокаивалась, глядела вокруг ясными синими глазами и отпускала какую-нибудь шутку. Да вот хоть о кроватях. Мол, нечего жаловаться на хромоногие кровати.

– Что вы хотите? Это же травматология! – говорила Кунсулу. – Здесь все хромают, и кровати тоже.

– Их что, со всех отделений сюда ссылают, что ли? – возмущались больные.

– Да, со всех! А куда их девать? Не в роддом же.

\* \* \*

Через год где-то Кунсулу, как и её подружка Алтын, вышла замуж. За большого дворника Сункара. Сункар тоже был приезжим, и привела его в город беда.

Он не считал Кунсулу красавицей, и взял её в жёны от одиночества и тоски.

Когда-то была у него семья, жена любимая, Кумис – Серебро. Она и была настоящим серебром, с голоском звонким, и лицом светлая, благородная, будто вышла из белой ханской юрты. Родила Кумис ему сына Ерлана, тоже белолицего, с золотыми узорами на спине. Мулла, когда делал обрезание Ерлану, в узорах этих распознал начертанное арабскими буквами имя Аллаха.

Как один день, пролетели три счастливых года их жизни. И вот поехали они с севера на юг, на свадьбу к родственнику Кумис. У Сункара-то не было родни – он детдомовский.

Выехали двумя машинами. В одной – Сункар с братьями Кумис, в другой – Кумис с Ерланом и жёны братьев. Вёл машину тесть Сункара, вислоусый Момыш. Выехали рано утром. Дорога дальняя. Осень. Кое-где уже подмораживало трассу, под колёсами хрустел ледок, и придорожная трава стеклянно взблескивала в свете фар. День наступал нехотя. Ерлан спал. Момыш, суровый и молчаливый, и теперь молчал, от чего женщин тянуло в сон. Болтать они стеснялись при Момыше, чтобы хоть болтовнёй разогнать сонливость. А в машине Сункара, которая шла впереди, то и дело гремел смех – мужчины рассказывали анекдоты и разные солёные байки. Было весело.

Всю дорогу за машиной Момыша следовала жёлтая фура. Иногда фура и автомобили перемигивались огоньками. Когда сделали остановку, познакомились. Хозяин фуры сказал, что едет он в город на китайскую барахолку – за товаром. С ним был напарник, молодой парнишка, который пил водку и закусывал свиным салом, густо сдобренным жёлтым чесноком. Хозяин фуры тоже пил и ел сало. Предложили и новым знакомым, но те отказались, а Момыш выругался:

– У-у, шайтан! – и отошёл за сопки помочиться.

Всё случилось уже на подъезде к городу. Фуру крутануло на гололёде, она врезалась в машину Момыша, смяла её, и потом перевернулась. Выжила только Кумис. Сункар перенёс жену с ребёнком к подножию холма, густо заросшего бозкараганом, уложил на свой плащ. Кумис была без сознания, лицо ей заливала кровь. Сункар стал отирать его платком, согреть губами. Ресницы её дрогнули, она судорожно прижала к себе ребёнка. И в беспомощности она помнила о нём и не отдавала. Кое-как расцепил Сункар её сильные пальцы и забрал мёртвого сына. Мальчик безмятежно, казалось, спал, и Сункар стал качать его. Сункар был в безумии, он не понимал, что случилось, но нечто страшное, непостижимое обступало его со всех сторон, и Сункар загораживал собой залитую кровью жену и спящего ребёнка.

Водители фуры оказались живы. Они вылезли сами из перевернутой машины и сидели теперь на обочине дороги, ожидая полицию. Лица их были синими от побоев – братья Кумис их избили.

Кумис повезли в город, в Большую больницу. И Сункар с нею. День и ночь сидел он около Кумис. Не спал, не ел. Только большими глотками пил воду. Кумис пришла в себя, узнала Сункара, но не говорила, а всё шарила, шарила руками

– ребёнка искала. Через несколько дней, на закате, она умерла. Сункар остался один. Куда ему идти, если душа Кумис отлетела в Большой больнице, если тут она осталась навсегда? Он хотел быть там, где душа Кумис.

В больнице к нему привыкли, говорили, какой же хороший, верный человек, этот Сункар. Таких мужчин уже редко встретишь, чтобы так любил, так ухаживал за женой, так о ней горевал и помнил. Не зря ему дали такое имя – Сункар. Сокол.

Взяли его дворником. Сначала жил он в своей машине, а потом выделили ему комнатку при Большой больнице. В комнатке той разный хозинвентарь хранился, но нашлось место и для узкой кушетки, и для крохотного стола. А больше Сункару и не надо.

Когда кончал работу, садился на скамейку в больничном саду и глядел на окна палаты, где когда-то лежала его Кумис. Ему казалось, душа её в эти закатные минуты тоже смотрит на него, витая облаком в больничном воздухе.

\* \* \*

Однажды в окне палаты он увидел женщину.

– Кумис! – вскочил Сункар. – Моя Кумис!

Но это была Кунсулу. Она глядела на вечернее солнце.

И сказал Сункару небесный голос Кумис:

– Женись на ней! Она тебе вместо меня будет...

Кунсулу, истомлённая ожиданием счастья, быстро согласилась, и Сункар женился, и переехал из подсобки в её съёмную квартиру. Однако оказалось, что Кунсулу совсем не похожа на Кумис, и потому Сункар был равнодушен к ней. А поскольку был равнодушен, то не обращал внимания на её странности. Каждое утро и на закате Кунсулу замирала, созерцая солнце, и Сункар не отвлекал её от этого созерцания. Не видел он и золотого сияния, что окружало её в такие мгновения, её роскошные волосы с рыжеватыми искрами. Дворник мастерил новую метлу, и это казалось ему более интересным занятием.

Кунсулу горестно вздыхала, но молчала. Она знала историю Сункара, и жалела его, и терпеливо ждала, когда он оттаёт, потому что полюбила, первый раз в жизни. А Сункар не замечал её любви, её грусти, и когда она стояла у окна наедине с солнцем, ждал, когда уйдёт, и тогда, быть может, душа Кумис вернётся. Она ведь перестала приходить, как он женился. И хотя Сункар сердцем своим по-прежнему оставался с Кумис, она, видно, всё же обиделась. Он уж подумывал, не бросить ли ему Кунсулу? И когда такие мысли всё сильнее стали смущать его, приснилась Кумис и сказала:

– Как же ты бросишь её? Она же нашего с тобой сыночка родит, нашего Ерлана!

И Сункар проснулся, потрясённый её словами, и новыми глазами посмотрел на Кунсулу, и увидел, какая она красавица. В самом деле – Равная Солнцу.

И вот пришёл срок – родила она ему сына. И был он, как две капли воды, похож на погибшего малыша Сункара и Кумис, на их Ерлана. Такой же белолицый, с золотыми узорами на спине, только волосы отливали рыжеватыми искрами и глаза синие, как у Кунсулу.

Когда Сункар его, трёхдневного, взял на руки, мальчик звонко засмеялся и сказал: «Ата!»

И повторил, осмысленно глядя на отца:

– Ата! Ата!

Это удивило всех. Случай небывалый! И кто слышал слова трёхдневного младенца, единым духом решили: родился великий человек! Недаром отец его – Сокол, а мать – Равная Солнцу.

\* \* \*

В ту зиму, как родился у Кунсулу сын, в аул Дальний из песков пришёл волк. Волк этот давно разбойничал в округе. Появлялся бесшумно, стремительно нападал на овец, и так же стремительно исчезал. Никак не удавалось поймать его. Только тень его видели, а самого – ни разу, словно бы это бесплотный дух.

И вот, пришёл он в аул Кунсулу. И перерезал многих овец. И влез на крышу мазанки, где жила когда-то невеста Каскырбека-богача, и стал рыть лапами снег, и рычать, и хотел прогрызть крышу и влезть в дом. Тут-то и подстрелил волка охотник Мерген. Распятую шкуру приколотили к шесту, который высился на въезде в аул.

Играл на домбре Мерген, пел о звере и охотнике, об их неразрывной судьбе, о страсти погони, о страсти, похожей на любовь. Пел Мерген, а мальчишки стреляли из самодельных луков в распятую шкуру, и собаки подпрыгивали, пытаются оторвать зубами клочок шерсти. Ликовал аул! Только старики сидели в сторонке и качали бородами, и говорили между собой:

– Неспроста приходил волк! Это дух нашего Каскырбека-богача: мол, что ж вы, шакалы, калым взяли, а невесту мою отдали на сторону?

Волки – мстительны, а стрелки – азартны.

На другую зиму Кунсулу снова родила сына, и волк снова пришёл в аул Дальний, и его снова убил охотник Мерген. Однако история с волком и Мергеном не закончилась. Она повторялась каждую зиму, и, похоже, была бесконечной...

## ШЛЁНДРА

Едва задували северные ветры, которые пахли свежим снегом, едва начинала трепетать ветхими крыльями Птица-Юрица – мельница, давно брошенная деревней в чистом поле, и кричали в небе последние перелётные стаи, Толян говорил себе:

– Пора!

Собирал баул и уходил на станцию. Дорога была короткой, через жидкий лесок и покосные луга. А там – рукой подать до семафорной будки, дощатого настила вдоль рельс и шиферного навеса, под которым прятались от непогоды редкие пассажиры. А то, бывало, Толян и вовсе один дожидался поезда.

Нынче он постановил себе ехать в Молдавию. А что? Там тепло, полно винограда, море близко. Он читал в газете. Купит палатку – на первое время, и где пожелает его душенька, там и вобьёт он колышки, и натянет брезент, приятно пахнущий магазином, и станет жить-поживать, а добро наживать ему ни к чему.

– Эх! – счастливо передыхал он. – Заживу! Может, наконец, невесту встречу, Лунию...

Сон ему однажды приснился. Будто море плещется у его ног, камни шлифует, бликами лунными да солнечными разукрашивает, обдаёт лицо ему водяной, солёной пылью. И так радостно, так светло у него на душе, будто на небесах он. Луна сияет, но и солнце тоже. Всё одновременно происходит во сне: и день, и ночь.

Не успел он этому удивиться, как видит: идёт по сияющему песку, вдоль моря, девушка невиданной красоты. Высокая, золотые волосы рассыпаны по плечам. Лёгкое голубое платье облегает всё её тело, обрисовывая каждый изгиб, и трепещет платье, вьётся, как под ветром, хоть и нет никакого ветра, тишина вокруг такая, что слышно стук сердца. Колотится оно в груди Толяна, гремит, подкатывает к самому горлу. Девушка мимо прошла, не глянув на него, свернула в золотую от солнца и луны степь, стала таять голубоватым туманом. И тогда спохватился Толян, рванулся за нею вслед, закричал:

– Как, как зовут тебя?

– Луния! – обернулась она. – Ищи меня! Я невеста твоя... Луния... – и растаяла совсем.

С тех пор он и скитается по свету, ищет свою Лунию. Много разных девушек повидал, но ни одна не похожа на Лунию.

Украинки красивы, чернобровы, свежи, пока юны, а как выйдут замуж – делаются толстыми, крикливыми тётками. Грузинки тонки в талии, гибки, с длинными, горячими очами, но к ним не подступишься: у них братья с кинжалами, да и нет среди них Лунии. Карелки крепки телом, молчаливы, диковаты, как рыжие кошки бегают по дюнам, мелькают среди красных сосен, хохочут – высоко и презрительно. Но нет Лунии и среди них. Все чужие.

Такими же чужими были и красавицы тундры, которые легко соглашались лечь с приезжим в чуме, сшитом из оленьих шкур, не требовали особых ласк, и наутро угощали сырой рыбой, чаем из трав и гудящей песней струны, зажатой губами, по которой ударяли коротким пальцем.

Но Толян упорно искал свою Лунию. Иногда впадал в отчаяние:

– Может, в самом деле, сон только? Имя опять же какое, таких, поди, и нет на свете: Луния!

Но когда он произносил его, сердце в груди таяло, как сахар, и глаза завлакивало слезами.

Уезжал он каждую осень. Навсегда! Отработает страду, вычистит свой тракторишко. Хоть и старый, а зверь. Продаст своему напарнику, прицепщику Кольке Рыжему красный мотоцикл. Получит в конторе расчёт. Всё, как положено: с заявлением по собственному желанию. И в путь!

Случалось это когда в октябре, когда уже после ноябрьских праздников. Смотря по тоске, подступавшей вдруг к Толяну. Весёлый, бесшабашный по природе, начинал он томиться что-то, много курить, психовать, швырять ногой кошку. Молоко ему казалось горьким, с полыньёю, хлеб кислым, а картошка, сколько её не соли, пресной. Всё раздражало Толяна. Уж на что книжки любит читать, а и те приелись. Пылятся на этажерке. Весь Божий свет ему не мил!

Мать его, Маша Андриясова, иной раз и уговорит его остаться. Правда, ненадолго. Сбегал он всё равно по первому снегу. Ночью тихонько встанет, а баул-то загодя у него в клети, во дворе спрятан. Выйдет, будто по нужде, а сам – тью-тью! Его уж Митькой звали. Ну, что ты с ним будешь делать?

Маша Андриясова уж и в контору, к Аверьян Аверьянычу ходила, просила его:

– Поговорил бы ты с им, Аверьяныч, по-отцовски, чё ли, ведь сладу нет, а?

Аверьян Аверьяныч, мужик некрасивый, но бодрый, с гладким лицом и без единой сединки в смоляном чубе, вечно что-нибудь жевал, а сам худой был, будто солитёр в нём какой сидел. В разных загашниках лежала у него еда. В столе – остаток гуся. В шкафу с бумагами – мясной пирог, завёрнутый в полотенце. В сейфе – кусок телячьего студня. В углу, за напольными часами – бутылка с киселём. Когда не зайдёшь к нему – всё жуёт, жуёт, жуёт. И хозяйство если обходит, жуёт – найдёт, что в рот сунуть: то горсть пшеницы на току, то красную морковку в овощехранилище, то молока попьёт на ферме, то у птичниц яиц возьмёт, надломит и в глотку. Но хозяин был хороший, справедливый. Много лет бессменный, хоть и в возрасте уже. Жилистый мужик! Колхоз при нём процветал, не смотря на то, что работающего народа в селе оставалось всё меньше и меньше, да и вокруг хозяйства рушились, люди разбежались. Начали продвигать вроде фермерство, да только оно что-то плохо приживалось. Землю фермеры покупали, а потом бросали. Она зарастала бурьяном, болела. А у Аверьяныча – порядок. У Аверьяныча – коммунизм, и Ленин у конторы стоит. Каждую весну его белят извёсткой.

Сломить Аверьяновский колхоз не смогли ни грабительские налоги, ни алчные районные чиновники, ни каверзы завистников. Ни раз пытались Аверьяныча снять с должности. Сколько себя помнит в председателях, столько и снимали но всякий раз народ его отбивал. Однажды чуть не сняли по заявлению его собственной жены, которая не выдержала Аверьяновского коммунизма – сбежала к матери в Омск. Но не только из-за этого. Была у Аверьяныча слабость – жалел он деревенских баб, которые остались вдовами или мыкались без мужской ласки. Не мог он их оставить без своего внимания и любви. Он ведь как рассуждал? Чем пропадать бабам пустоцветом, уж лучше пусть со смыслом живут. Вот и наполнял он их «смыслом». Пол деревни теперь его дети. И Толян от него у Маши Андриясовой. А что ей было делать? Муж-то её пил, да так, что однажды спутал Машу с тёлкой, которую взялся колоть к Рождеству – Маша еле спаслась. Замёрз он после Рождества в поле. Когда нашли его, он уж за деревенел – руки-ноги корягами торчали из сугроба. И что его в поле понесло? Или опять померещилось что-то? Была у Маши девочка от него, так вскоре померла от scarлатины. Совсем загоревала Маша. Вот и утешил Аверьяныч несчастную Машу. И потом не оставлял, как и других баб: и сена им накосит, и дров привезёт, и деньгами не обидит. А что некрасивый – так разве русская баба на это смотрит? Пусть и чудище ликом, а приголубит – станет великом. Бабы за Аверьяныча горой стоят, да и мужики тоже – при работе они, вот и не хотят другого председателя, хоть и привозили им разных кандидатов, и хотели колхоз продать какому-то шустрому чужаку, который тут, на отшибе, но близко от города планировал построить игорные дома – свой, так сказать, Лас-Вегас открыть. Обещал провести хорошую дорогу, осветить деревню иллюминацией и приобщить колхозников к западной цивилизации: вышибалами сделать в казино. Но Аверьяновка не поняла своего счастья, вышла на чужака с вилами и топорами: мол, ты хотел, чтобы всё, как на диком Западе? Так вот тебе наш дикий Запад! «Благодетель» и отступил.



Сильный мужик Аверьян Аверьяныч, а слабость всё ж-таки имел, отчего жена его законная не стерпела измен и укатила к матери в Омск. «Ну, и катись!» – сказали повеселевшие бабы. С одной стороны они её осуждали – и что уехала, и что детей Аверьянычу не родила: всё фигуру берегла! Осуждали, но в то же время и радовались: Аверьяныч теперь целиком их! Правда, оскорблённая жена напоследок написала в район письмо, где обрисовала развратное поведение бывшего мужа. Приехала комиссия, давай разбираться. Кого не допрашивали – все отрицают порочную склонность Аверьяныча. Стали тут пытаться скотника Манделу. С африканским патриотом роднила его густая шапка нечёсаных кудрей, потому и прозвали Манделой. Мандела на допрос явился прямо с фермы, где перекидал кучу навоза, и был весьма пахуч. Комиссия зажимала носы, отворила форточки, но стойчески продолжала расследование. На хитрые расспросы комиссии Мандела твердил одно:

– Аверьяныч, во, мужик! Во! Мировой! Во!

Комиссии такие показания не понравились, стали давить на скотника:

– Говорят, он женский пол любит?

– А кто ж его не любит, во, этот пол? Особливо, если помытый! – ёрничал Мандела, но комиссия не оценила его юмор, комиссия продолжала сурово допрашивать ёрника:

– У нас есть сведения, что председатель ваш спит с чужими жёнами.

– Во, сказали! Мы того не видели, а ежели спит – молодец! Выручат нас, мужиков, во!

– Какая-то странная у вас мораль! – возмутилась комиссия поведением Манделы. – И что, нет у него никаких грехов?

– Есть! Грехи есть!

– Давайте, давайте, говорите! – оживилась комиссия, – Мы записываем!

– Пишите: Аверьяныч, как есть преступник, во!

– Так, так! Это уже интересно! Почему преступник?

– А потому, что не пьёт, и это нам, мужикам, обидно, во! Преступник и предатель родины, во!

– Предатель?

– А то кто ж? Вся Россия мучается, пьёт, а он – не пьёт, во! Кто ж он после этого, если не предатель родины, во?

– Ну, мы это писать не будем... – расстроилась комиссия.

– И не пишите! А расстрелять можно, во!

– А что о жене его сказать можете? – допытывалась комиссия.

– Ничё хорошего сказать не могу: никому не давала, и осталась безродной, во!

А вот сам Аверьяныч о доносице-жене говорил только хорошее, а что уехала, так не впервой: проветрится и вернётся. Она городская, к деревенской жизни так и не привыкла – всё по городу тоскует.

Бабы же все обвинения отрицали, и ни одна Аверьяныча не сдала. Так что, комиссия уехала ни с чем. Давно это было.

Теперь Аверьяныч успокоился. Стар уже для любовных утех, да и невесты его постарели, но он по-прежнему любит их. Вот и приходят к нему бабы за помощью. Не только как к председателю колхоза, а ещё и по-родственному. И прозорливость ему по-родственному прощается. Конечно, за глаза подшучивают над ним, даже безответная Маша Андриясова позволяла себе:

– У-у, нехристь! – гоняла она глупого телка Стеньку, который сжевал у неё на верёвке полотенце. – Чистый Аверьяныч, холера тебя возьми!

Стенька удирал от неё, прятался в зарослях конопли, выглядывая оттуда и нацеливаясь на две простыни, что полоскались на ветру и одуряющее пахли воздухом.

На слёзные просьбы Маши Андриясовой повлиять на Толяна, Аверьяныч обычно кряхтел, неудобно сглатывая кусок, оглушительно икал. Маша бежала за водой в сенки, где стоял бачок. Аверьяныч долго пил, отходил кое-как от икоты и уже осмысленно, остро глядел на могучую бабу, по-мордовски повязанную пёстрым платком – концы закручены где-то на макушке, и бахрама окружает тёмное, деревянное лицо с настырными скулами.

– Вот што! – Аверьян Аверьяныч решительно хлопал ладонью по столу, поднимая пыльную бурю. – Вернётся, обсудим его на общем собрании!

– А как не вернётся? – всхлипывала несчастная Маша Андриясова, – Как не вернётся, он же сказал – навсегда уехал, чё тада? Не чужой же он тебе, Аверьяныч, кровной!

– Не дрищи! – доставал Аверьяныч из стола гусиную ногу, – Вернётся, куда денется? А то в первый раз...

– Так-то оно так, – соглашалась смиренно Маша Андриясова. – Я счас тебе, Аверьяныч, ищцо водички принесу!

И она рысью кидалась в сенки. Бахрама её пёстрого платка трепетала воробыными перьями, а вслед ей неслось мощное урчание аверьяновской утробы.

\* \* \*

Толян всегда возвращался. Но уж в очередной раз, как собирался он снова в поход, Аверьян Аверьяныч непременно проработывал его:

– Пошто маешься дурью? – стучал по пыльному столу, – Возьми отпуск, как все люди, и поезжай, куда хошь, хоть к чёрту на кулички! А ты сразу: бряк заявление! Ну? – усиленно жевал он любимого гуся, слизывая с губ сладкий сок. Толян мял в кулаке кепку, поводил могучими плечами:

– Дак это, дак я ж насовсем уезжаю, Аверьяныч! Я, вон, и мотоцикл продал.

– Кольке Рыжему?

– Ну!

– И прошлый раз продал, а потом выкупил. Токо пацана дразнишь. Не езд, сынок!

– Поеду!

– Эх, перекаати-поле! – вздыхал Аверьяныч, обтирая губы старой ведомостью.

– Вот дождёшься у меня, не пушу больше в колхоз, живи тогда, где хошь!

– На земле места много! – веселел Толян, видя, как Аверьяныч подмахивает его заявление.

– Куда хоть едешь? – по-отечески горестно глядел на него разбухший от еды старик.

– А на Кудыкины горы! – дерзко вскидывал голову Толян. – Слыхали про такие?

– А-а, – махал рукой Аверьяныч, – Одно слово: шлёндра! Языком-то молоты научились, куда там...

\* \* \*

Теперь Толян, благополучно преодолев иностранную таможенную, сидел в молдавском городишке, в винном погребе, довольный собой, своей новой велюровой шляпой с птичьим пёрышком, вином, которое заковыристо называлось по-молдавски и которое он пил, наливая из запотевшего глиняного кувшина. А ещё был доволен тем, что вокруг него шумели молдаване, хлопали его по плечу, как своего, разговаривали с ним, и он не понимал ни слова, и молдаван это ещё больше веселило, и Толяна тоже. Между столиками ходил скрипач, скрипка его вскрикивала, как женщина во время любви. Был праздник, шум, острый привкус красного перца во всякой еде.

Палатку Толян купить не успел и до моря не добрался, потому что быстро сдружился с молдаванином по имени Ион. Ион выволок пьяного Толяна из погреба и доставил к себе. Там Толян и стал жить.

Хата у Иона белёная, с нарисованными букетами на стенах, крытая черепицей. Двор большой, хоть на коне по нему скачи. Но коня не было, только деревянная телега, уронившая оглобли, стояла возле высокого амбара.

– Каруца! – сказал про неё Ион.

Владел Ион виноградником и фруктовым садом. Дети его галдели с утра до ночи во дворе и в доме, а сколько их, Толян никак не мог сосчитать. Они появлялись перед ним, как черти из табакерки: чумазые, босоногие, юркие, и так же внезапно исчезали, будто проваливались сквозь землю.

Правила домом прямая, жердеподобная тёща Иона, Марица. Утром она вместо воды черпала ковшиком из кадки виноградного вина. Дети тоже воду не пили. Все черпали из кадки. Выпьёт тёща, утрётся подолом цыганской юбки, закурит самокрутку, и целый день дымит – без остановки. У неё и табак свой сушится в амбаре. Толян пробовал его курить, да чуть не задохнулся:

– Ёшкин свет! Настоящий горлодёр!

И он хохотал, глядя на него. «У-у, белоглазый!» – сердился Толян, но недолго. Ион ему нравился. Так нравился, что он даже хотел рассказать ему свой сон про Луню, но пока не решался, другой разговор начал:

– Где твоя жена, Ион? – Толян ни разу не видел её в доме, только на большой фотографии, на стене. В белой фате, рядом со своим молдаванином. Лицо испуганное, глаза вытаращила. И жених, Ион, деревянный сидит, будто кол проглотил. Если есть тёща и дети, то где-то должна быть и жена. Но Ион прикинулся, что плохо понимает по-русски:

– Жёна? Жёна? – бессмысленно лопотал он, и добавил, смеясь, что-то длинное на своём языке. Толян так и не понял. Но поскольку Ион не горевал от долгого отсутствия жены, то и Толян успокоился. Мало ли что: может, уехала куда, может, сбежала с полюбивником, может, померла... Нет, помереть не могла – Ион бы так не веселился, говоря о ней...

Сам Толян ещё не испытал семейного счастья и держал эту перспективу где-то в туманном далеке. «Куда торопиться? – говорил он себе. – Ещё и не видел ничего, не жил нигде толком. Другие люди там живут, а я не жил. И мне т а м охота пожить. А ну, как там рай?»

«Там» представлялось Вселенной, откуда, само собой, Толян исключал свою унылую Аверьяновку. «Там» было море, «там» одновременно сияли солнце и луна, «там» шла вдоль берега небесная Луня, улыбаясь ему и маня за собой.

\* \* \*

Ион когда-то учился на артиста, но бросил – лень стало. Теперь числился где-то завхозом, но работал редко – опять же из-за лени. Всё больше сидел в погребках, или в хате валялся на лежанке, покрытой домотканым красным ковром. Такой же ковёр на стенке, а на нём – два ружья и охотничий рог. «Видать, охотник», – решил Толян, но спрашивать Иона не стал: тот не соображал ни бельмеса, лопотал по-своему да смеялся. Не хотел по-русски говорить. Ну, и чёрт с тобой!

Иногда они с Ионом ходили к «милашкам». Так Ион называл красивых молдаванок, которые были не строги, крутили бёдрами в пёстрых юбках, брэнчали красными бусами, садились на колени к ухажёрам и поили их вином, набирая себе в рот. Упоительное это занятие заканчивалось жгучими поцелуями, сумасшедшими ласками и обмороком к утру. Никогда ещё Толяна не ублажали так, и он возвращался в хату Иона, шатаясь, как измотанный бурей рыбак. Валился на лежанку. Спал сутки, либо двое.

И всё же, Толяну неловко было всё время шляться по винным погребкам и «милашкам», а потом целыми днями валяться без дела. Хоть бы уж книжка какая была, почитать. Но книг в доме Иона не водилось, только потрёпанный учебник по актёрскому мастерству.

Толян шёл к Марице, что-то копал, выгребал, приколачивал. Она принимала его трудовые порывы так же равнодушно, как и лежание зятя на ковре.

Заходил полицейский, тыкал пальцем в Толяна, строго спрашивал Иона, что за жилец у него? Уж не российский ли это шпион или террорист? Требовал показать документы. Ион быстренько спускался в подвал, приносил большую бутылку лучшего вина, баранью ногу, всё передавал слуге закона:

– Вот тебе документы!

Полицейский принимал взятку и важно удалялся, а Ион пояснял струхнувшему Толяну:

– Это Михай, троюродный брат мой! В участке служит. Скучает по мне, вот и заходил, – по-молдавски лопотал, Толян мало что понял, но по тону Иона догадался, что вроде бы пронесло – откупился Ион.

Михай «скучал» по Иону всю зиму. И всякий раз уходил с дарами.

\* \* \*

Весна тут начиналась рано. Пожалуй, после осени, после обильного сбора урожая фруктов, винограда и разных овощей, сразу же начиналась весна. Зелёная трава пробивалась из земли круглый год, не смущаясь лёгкого, нестойкого снега, и набухшие почки появлялись, едва осыпалась красно-жёлтая листва.

Уже в марте Толяна начало одолевать томление. Расширенными ноздрями ловил он запахи прелой земли, парящей даже ночами. Его бросало в жар, он потел, ворочался до рассвета, а если засыпал, то видел свою Аверьяновку, чёрные поля с полчищами грачей, свой испытанный трактор, и так хотелось взяться за гладкие рычаги, почувствовать всем телом, как дрожит терпеливая машина, и рвануть, оставляя за собой ровную борозду, и запеть во всю глотку: «По Дону гуляет казак молодой!»

Толян начал собираться домой. Не понимавший до этого русских слов Ион, вмиг переменялся, кричал:

– Не пуцу! Со мной живи!

Толян обиженно насупился:

– Да ты притворялся, оказываться?

Ион весело хохотал, задирая по-кошачьи светлые усы:

– А и притворялся, что с того? Я всю жизнь притворяюсь, и мне весело! Я артист, а ты балбес!

– Ну-ну, полегше на поворотах! – выкатил грудь могучий Толян, а Ион ещё пуще хохотал:

– Да кто ж ты, если не балбес? Плохо тебе со мной, а? Лежишь, вино задаром пьёшь, песни мы с тобой поём, к «милашкам» ходим. Вот, погоди, на охоту скоро пойдём! – и он кивнул на ружья.

– Да кака охота, ведь весна...

– А и весна, так что? Раз приспичило нам, вот и пойдём, уток постреляем.

Но Толян помрачнел, набычился, и отвернулся к стенке. Ион тоже притих на своей лежанке. И стал он караулить Толяна денно и ночью. Не пускал никуда одного. И даже по нужде выходили они парой.

«Да что ж это такое? – думал Толян. – В плен я ему што ли сдался?» А Ион похахатывал, и на все доводы Толяна пожимал плечами: мол, не понимаю, о чём ты говоришь? Опять лопотал по-своему и топоришил кошачьи усы.

Дошёл Толян до полной ненависти к Иону. Валялись они как-то с ним по своим лежанкам в тёмной горнице, выпив перед тем жбан домашней липкой наливки. Голова Толяна гудел трактором, у которого изрядно барахлил мотор. А Ион покуривал, время от времени засыпая и роняя пепел на ковёр, отчего ворс на ковре дымился.

– Штоб ты сгорел совсем! – выругался в сердцах Толян, и повернулся на другой бок. И заснул. И приснилась ему опять прекрасная Луния. Она бежала вдоль моря, манила его, и он задыхался от погони, красные круги пошли перед глазами.

Очнулся от страшного взрыва. В хате всё полыхало, кричали дети. Он рванул к окну, вывалился на улицу, хватая ртом воздух. Уже соседи бежали, пожар тушить, уже гудела вдаль пожарная машина. Только жердеподобная Марица, с самокруткой в зубах, спокойно стояла посреди двора и глядела на конец света.

Оказывается, в полости своей лежанки зять её держал мешочки с порохом – для охоты. Во сне прожёт ковёр, тлеющая шерсть проникла к пороху, вот и бабахнуло. Толян с перепугу думал сперва: всё, началась-таки третья мировая война! Её всё время ждали в Аверьяновке, слушая хриплое радио на деревянном столбе.

Он вместе со всеми тушил огонь, таская от колодца воду и мучаясь совестью: «Зачем только брякнул: «Чтоб ты сгорел!»? Вот никогда не надо так говорить, потому что сбывается...»

Хоть был Толян передовым механизатором и человеком просвещённым, коим самодовольно числил себя, однако тайком верил в потусторонние силы.

У них в Аверьяновке баба одна жила, Мотовилиха. Жила – со свёкром маялась. Правнуков он дождался, а всё не помирает, всё сноху мытарит-поучает. Она ж без мужа. Муж-то когда ещё помер. Другие как-то аккуратно попыхтят годков семьдесят, либо восемьдесят, и отойдут с миром. А этот... Нигде ничего у него не болело, а вот у головы был небольшой крен: старик не мог сказать, сколько ему лет и как его звать, но утверждал, что помнит отмену крепостного права и полёт человека на Марс.

Ну, так вот. Идёт свёкр, скажем, в баню париться, Мотовилиха непременно плюнет вслед: «Шоб ты там угорел совсем!»

Но папаша возвращался из баньки розовый, довольный, с венником под мышкой. Тут ему сходу подавай самовар. Весь выпьёт и до утра спит в своём углу, улыбаясь благостно, аки младенец. Спит он, а сноха с ненавистью шепчет в его угол:

– Шоб ты усарся на Пасху! Шоб тебя жмурики уташили!

И ведь накликала. Посколькузнулся он однажды в бане, ударился затылком о порог и тут же испустил дух.

Радоваться бы снохе, а она плачет-убивается:

– Ох, я, я во всём виноватая! Я его со свету сжила!

Её успокаивают:

– Да што уж так-то наговаривать на себя? Добро бы хоть молодой был, а то ведь больше ста лет прожил. Дай Бог каждому!

– Нет! – кричит Мотовилиха, бьёт себя кулаком в грудь: – Нет! Это я, это всё я!

Вот и Толян мучился: зачем проклял он Иона, зачем сказал: «Штоб ты совсем сгорел!»?

Но теперь его никто не держал. И Толян вернулся домой.

\* \* \*

Забрызганные навозом, весенние подворья Аверьяновки казались Толяну жалкими и родными до слёз, после роскошных, хмельных молдавских дворов.

На верёвках болтались застиранные тряпицы в мелкий цветочек. Такие голубенькие цветочки скоро выскочат и на деревенских косогорах, на первом припёке. Сердце обмирало от умиления. За деревней, в сыром поле, под весенним ветерком струнулись с места крылья Птицы-Юрицы. Заскрипели, запели они, будто коростель. И Толян запел: «По Дону гуляет казак молодой...»

Он вдыхал полной грудью полевой дух вольной округи, не заставленной двухэтажными молдавскими крепостями под красной, будто обваренной кипятком, черепицей. И неба-то за ними не увидишь. А тут – небо начиналось от самой земли, и конца ему не было. И парил в этом небе наново побеленный Ленин. Вскинутой рукой радостно приветствовал он Толяна. И Толян тоже помахал ему.

\* \* \*

Перво-наперво зашёл Толян на машинный двор, проведать свой трактор. С трактором возился Колька Рыжий, родной брат Толяну – по Аверьянычу. Толян крупный, видный из себя, а Колька получился плюгавенький, да ещё и кривой. Глаз он потерял в детстве, взрывая с пацанами карбид.

Колька обрадовался Толяну, от души стиснул ему ладонь, побелевшую от долгого безделья. У Кольки руки чёрные, в солярке, и он их стеснялся.

– Готовишься? – спросил Толян, оглядывая подновлённую машину.

– Ага! – шмыгнул носом Колька.

– Вместе опять будем?

– Ага!

– Мотоцикл-то мой в порядке?

– Ага! – Колька уж знал: Толян непременно выкупит у него свой красный мотоцикл. Колька и покатался-то не нём всего-ничего, чтоб, не дай Бог, не поцарапать где.

– Чё дома-то у нас? – осведомился Толян у напарника, похлопывая свой отдохнувший трактор, как лошадку, по лоснящимся железным бокам.

– Ага! – невпопад ответил вконец смущённый Колька, и из мутного, порченого его глаза побежала водица.

– Ну, ладно! – отвернулся от него Толян. – Пойду я!

Но не сразу свернул к дому, а вышел сначала в поле, маслянисто блистающее под солнцем, оживающее. Бросил затёрханное пальтишко на землю и полежал маленько. Голова закружилась, облака пошли на него, снижаясь, громоздясь друг на друга, а в прорывах между ними пронзительно сверкнула синь, и зазвенело что-то, запело, понесло Толяна в никуда, стремительно, так, что сердце замирало и падало.

Когда Толян прибыл, наконец, домой, то мать не вышла к нему, как обычно, не бросилась с плачем на грудь, радуясь его возвращению. Тихо было вокруг.

Он тщательно обскрёб ноги о вбитую в землю железку, прислушался: не идёт ли? «Ладно, – подумал, – как хочешь!» И обиженно отворил дверь, и встал на пороге. От печи шагнула к нему соседская Пронька, лохматая, как анчутка, с намазанными толсто бровями, и серьги нацепила – два скрученных жгутом бараньих рога. Выставилась!

– С приехалом!

– Привет! – отозвался хмуро Толян. – А мамка где?

Он бросил под лавку баул, по-хозяйски оглядел избу:

– Где она есть?

Пронька опомнилась, запричитала:

– Да миленький ты мой, да рыбка ты моя, да ничего-то он не знат!

Она обнимала его и оставляла на лице мокрые поцелуи, а сама всё голосила:

– Да схоронили мы нашу родненьку тётъ Машу! Да не дождалась она свово ангелочка!

– Стоп! – отодрал от себя Проньку Толян. – Как схоронили? Чё ты мелешь, дура?

\* \* \*

После кладбища и сиротских поминок, вдвоём с Пронькой, Толян размяк, стал зевать. Пронька засуетилась:

– Сшас, сшас, моя рыбонька! Я мигом. Постелька-то чиста, вот токо перестилала. Сшас, мой ангелок!

Она подхватила ослоловешего Толяна под мышки, перевела через избу к пологу, за которым была его постель. Пока он возился там, укладываясь под неожиданно тяжёлым и громадным одеялом, Пронька быстренько разоблачилась и юркнула к нему. Толян не понял и с минуту ожидал, что дальше. Пронька плотно придвинулась к нему, задышала в ухо:

– Рыбка моя, золотко!

«Да она ж голая!» – обнаружил Толян, и решительно сел:

– Вот што, Прасковья Батьковна, живо катись отседова!

– Рыбка моя, Толичка, ну, чё ты? Чё ты? Ну... – и она мягко стала нажимать на него, укладывая рядом с собой. – Ну...

Толян вовсе рассвирепел. Он сбросил Проньку с кровати и укрылся с головой.

– Дурак! – крикнула она, потирая ушибленный бок. – Дурак и не лечишься! Я взамуж за тебя хочу, а ты...

– Катись, катись! – грубил ей Толян из-под одеяла. – Тебя мне токо не хватало!

Наутро, конечно, вся Аверьяновка уже знала о Пронькином позоре.

– Ну, чё, выражала номер пять, без штанов пошла гулять, – дразнили её подруги, змеюки подколотные, – Толян-то развод тебе дал?

Пронька, встряхивая завитой львиной гривой, вздёргивала толсто накрашенные брови и фыркала:

– Подумашь! Да он дурак ненормальный. И вообще, импотант!

– Чё тако?

– Чё, чё! Када не может мужик, вот чё!

Аверьяныч вызвал Проньку в контору. Пронька струхнула. Расчесала лохмы, стёрла толстые брови, вынула серёжки из ушей, и превратилась в боязливого воробышка. Конторские тётки высунулись из дверей – любопытно им, старым кошёлкам. Встала Пронька перед председателем, то и дело одёргивая куцее пальтишко, стоит-не дышит. Аверьяныч долго кряхтел, с трудом пережевывая старого гуся, отдувался, пил воду из графина, который завёл для солидности, потом тяжело глянул на притихшую Проньку, и приступил к нелёгкому разговору:

– Ты вот что, садись-ка. Вот што, не лезь больше к Толяну, поняла? Не лезь, дочка, потому как... В общем, сестра ты ему, поняла?

– Кака така сестра? – вскинулась Пронька.

– Кака, кака... родна, кака ещё. Ну, в общем, мы с твоей матерью того... Отец я и тебе, и Толяну. Так што, нельзя вам. Поняла?

– Ой, божечки, стыд-то какой! – закрылась Пронька руками. – Стыд-страм! – и пулей вылетела от Аверьяныча. А он с тоской выдохнул:

– Прости уж... Все простите...

\* \* \*

Толян упыхивался на тракторе, потом пересаживался на комбайн – он мог работать на любой технике. Спал часа два-три, и опять поднимал безропотного Кольку, и снова – к штурвалу! Весь колхоз так работал, вместе с Аверьянычем.

Колька осунулся от ударной вахты, целый глаз его подёрнулся краснотой, а порченый – то и дело слезился от земляной пыли. Волосы обгорели на солнце, и только под кепкой оставалась тёмная макушка.

Толян тоже изменился, стал костистее и грубее, на чёрном лице неприятно светлели глаза, и было в них что-то звериное. Одежка на нём поизносилась, и вид имела убогий, но Толян ничего не замечал. Сладко вытягивал ноги перед сном, утыкался в книжку, но и страницы не осиливал – проваливался в яму.

Так длилось до осени, до поженок, до первого снега. А с первым снегом он продал красный мотоцикл Кольке Рыжему и собрал баул.



– И чё вот по свету шляешься? – вздыхал Аверьяныч, подписывая заявление. – Тридцать лет тебе скоро. Чё на месте-то не сидится? Пора уж хвост-то поприжать.

Толян аккуратно разгладил на колене кепку и пояснил старику:

– Скушно мне на одном месте. Я хочу глянуть, как другие люди живут, в других местах. Зря, што ли, стоко земли придумано? Везде чё-нибудь да есть новое...

– Глупости! – вздыхал Аверьяныч, тяжело пережёвывая чёрствый калач. – Люди, они хоть где люди. Едят. Спят. Работают. Гуляют. Как у нас в колхозе, так и везде. Пускай говорят по-другому, на своём языке, а всё про то же, што и мы с тобой. Люди! Эх-ха! – наконец, справился он с калачом. Послушал, что делает тяжёлый кусок. Калач, подумав, провалился в брюхо, и стало Аверьянычу легче дышать. – Глупостями ты занимаешься, сынок! Ежели б хоть обсевок какой был, лодырь, тут бы я тебя понял, а так – не понимаю! Передовой механизатор! Грамоту, вон, я тебе опеть выписал, премию, ну? Не понимаю!

– Так што ж, если вы не понимаете, так мне и не ехать, што ли? – философски рассуждал Толян. – У меня, может быть, свои душевные расположения и порывы ищущей мысли!

Он любил иногда, для убедительности, блеснуть книжной фразой, что казалось ему несомненным проявлением ума и просвещённости, а Толян считал себя именно таковым, потому что – в отличие от земляков – бывал кое-где, подальше от глухой Аверьяновки, и кое-что повидал такое, что им и не снилось, и попробовал разную диковинную пищу, и послушал чужие песни, и сам знал несколько нерусских словечек.

Аверьяныч не сдавался и пытался образумить Толяна:

– Я ведь што думал: тебе передать колхоз, я ведь не молоденький, а ты вон как – гастролируешь!

– Да мне на дух не нужен ваш колхоз! Я птица вольная.

– Тоже мне, птица ку-ка-ре-ку! Жениться тебе надо, – ввернул Аверьяныч последнюю приманку.

– На ком жениться? Родня одна кругом. Сами ж наплодили, теперь, вот, предлагаете!

– А я тебе хорошу невесту приглядел. В районе. Анька-учительша. А чё? Ни разу не замужняя, дом у ей, и в теле она. Правда, старше тебя, так это пройдёт, ты тоже состареешь. Ну?

– Вот сами и женитесь на старухах! А у меня своя мечта.

\* \* \*

Едва поезд отошёл от Аверьяновки, потонувшей в лужах, Толян заволновался, в глазах его появился блеск, какой бывает у безумных. Он ехал неведомо куда!

И вот блеклые российские пейзажи сменились южными картинками. Потянулась голубая степь, высокие свечи тополей, а потом – враз, подкатившись к самым рельсам, открылось море – синее, без единого пятнышка. Над ним сияли и солнце, и подтаявшая луна. Море стояло в окнах вагона, вскидывая к небу лёгкие волны. Чайки летели за поездом, и, казалось, крыльями задевали вымахнувшие на ветер занавески.

Толян в восторге высунулся в окно, его обожгло стеклянным ветром, в ушах свистело. Проводница сердито дёрнула его за пиджак:

– А ну, затвори! Придумал. Оторвёт башку-то, будешь знать. Или она тебе не нужна?

Толян с любовью глядел и на проводницу, и на синее море, которое так долго снилось ему, а теперь вот оно, рядом!

Какие-то могучие, нерастроченные силы открывались в нём, чем дальше уносился он от Аверьяновки. И он ворошил свой густой соломенный чуб, и смеялся счастливо, и зажмурился крепко глаза – до красных кругов, а когда открывал их – Луния бежала вдоль моря и смеялась. Бежала и смеялась, озарённая солнцем и луной.

## КЕКРЕ – ГОРЬКИЙ ВАСИЛЁК

Когда-то жила я у Синих гор, которые возвышаются посреди степи, как ребристые хребты диковинных животных. Бока их обросли густой шерстью лесов. Кое-где лесной этот мех вытерся, износился, и теперь светлел прогалами цветного камня.

Возле урочища Кекрели горы были особенно высоки, покрыты зеленью – от подножий до верхушек, только одна вершина – лысая. Внизу – лежало озеро. Казалось, великан снял шапку, обнажив свой бритый череп, наклонился, зачерпнул шапкой воды, чтобы напиться, но так нерасчётлива была рука, что зачерпнуть-то зачерпнул, а поднять – не смог: окаменел. Много веков держит каменный великан у ног своих озеро, и никак не может поднести к гранитным губам. Стонет по ночам иссохшее, жаркое нутро горы. Потрескались камни от жажды, и только дождь ненадолго успокаивает исполина.

Когда въезжаешь в Кекрели, то ещё издали на высоком приозёрном холме видишь каменный мавзолей. Облака легко проходят между стройными арками строения. Как бутон нераскрывшегося цветка, вознёсся он над холмом. И когда смотришь на него, думаешь: убери с холма мавзолей – и природа обеднеет. Точёный человеком камень – и есть тот последний мазок, который завершает картину, создаёт гармонию.

Сколько бы раз не въезжала я в Кекрели – мавзолей всегда был внезапен. Иногда он казался мне не цветком, а двумя обнявшимися птицами, которые опустили четыре узких крыла, но через мгновение взмахнут ими и – полетят!

Самые речистые старики-попутчики при виде мавзолея замолкали и с молитвой омывали ладонями лица. Они и рассказали мне историю этого мавзолея, и я узнала, что не только в старинных легендах и песнях бывает великая любовь, но и в жизни нашей.

\* \* \*

Жила в маленьком горном урочище Кекрели девушка. Очень красивая, говорят, была. Все её сородичи и односельчане были смуглы, потому что степной, горячий ветер обжигал их лица. Только девушку не трогал – её белое, как озёрный песок, лицо. Помечена она была и пятнышком-родинкой между бровей, что делало её похожей на индийскую принцессу. А больше ничем, пожалуй, девушка не отличалась от других. Те же чёрные глаза и узкие – вразлёт – брови, такие же белые, крепкие, как соль, зубы, и косы, как у всех девушек в урочище – длинные,

жѣсткие, пахнущие овечьим молоком. Вместо лент вплетены в них монетки с дырочками. И платьѣ она носила обычные – ситцевые, в мелкий цветочек. Поверх этих, выцветших на дневном воздухе платьев, надевала она плюшевую, зелёную безрукавку. Безрукавка совсем скрывала её и без того слабую, маленькую грудь, хоть было девушке уже шестнадцать лет. Звали её Аккозы.

Сразу же за урочищем Кекрели тянется долгое зелёное пространство, ничем не занятое и ровное. А в конце – каменистый холм и узкая полоска воды, будто сверкнувший глаз степняка. Там озеро, синее от гор, поросших сосной, арчевником и лишайниками. На озере всегда водились дикие утки. Они много столетий прилетали сюда, в свои гнездовья. Голоса этих птиц были гортанны, громки, как и голоса местных жителей.

С нынешней весны Аккозы стали волновать крики уток, которые она слышала с детства и не замечала.

Аккозы плохо спит по ночам. Слышит нежный зов зелёного селезня, который кличет свою подругу, серую уточку, а та тихо покрякивает в густой осоке и не плывѣт к нему, и прячется, чтоб селезень искал её и томился нетерпением, и топорщил свои узорные перья, и кружился, играя зеркальцем своего кудрявого хвоста. Но вот крики на озере замирают, и Аккозы замирает тоже: «Нашѣл?» Потом ей становится отчего-то грустно, и она не знает, отчего.

Косы её расплетены и застилают всю постель чёрным шёлковым покрывалом.

Дверь прикрыта неплотно. По полу крадѣтся предрассветный, студѣный воздух, который пахнет душиной полынью. У Аккозы саднит горло. Она прерывисто вздыхает, но дыханию тесно в груди, и там возникает ноющая боль. Аккозы заходится в кашле. Но грудь не освобождается и ноет ещё сильнее. Аккозы широко открывает рот, дышит, дышит, но никак не может захватить достаточно воздуха, никак не может наполнить им лёгкие. От этого лоб её влажнеет и кружится голова.

Кашель пугает Аккозы. Не проснулась бы мать! Аккозы прислушивается. Вроде, тихо. Только хромой ягнёнок ворочается и плачет за печью.

В слоистых сумерках Аккозы видит пѣстрый сырмак на стене, проводит по нему ладонью, спотыкаясь о крошечные узелки. Ковру этому уже сорок лет, как и матери Аккозы. Смастерила сырмак мать матери, бабушка Дамежан. По краям пришиты были перья совы, чтобы уберечь дом от злых духов. Теперь перья выпали, а в злых духов перестали верить.

Аккозы осторожно приподнимается на локтях. В низкое окно мазанки глядит луна. Она большая, белая, занимает всё оконное пространство, и, кажется, луною застеклено окошко.

Аккозы улыбается и падает на подушку. Закрытые глаза её всё ещё видят окно с луной, и чудится Аккозы в полусне, что это бабушка Дамежан заглядывает в мазанку. Бабушка во всѣм белом. Надела на голову белый жаулык. Лицо у бабушки круглое, как луна. Стучит бабушка Дамежан клюкой в окно. Спина у неё тоже клюкой согнута.

Аккозы глядит на бабушку, а та стучит в окно:

– Пойдѣм, пойдѣм со мной!

Аккозы видит себя: как соскочила она с постели, и вот бежит уже за бабушкой Дамежан. А сама маленькая, совсем ребёнок. И платьѣ красное – польхает! – потому что уже день.

Хвосты белой солодки-акмии такие высокие, что достают до глаз Аккозы. Бабушка поцеловала внучку в горячую от солнца макушку и за руку повела с собой по лугу, раздвигая высокую траву. Аккозы пошла, хоть бабушки Дамежан давно уже нет в живых, и во сне Аккозы удивилась: куда же может вести её умершая бабушка? А бабушка говорила:

– Прикоснись к земле, жаным, ляг – и ты исцелишься!

Аккозы легла в мягкую траву – и увидела небо, пёстрое от летящих уток. Потом бабушка повела её дальше, и они срывали по дороге разные цветы и стебли. Бабушка Дамежан рассматривала их и называла по именам, и говорила, какая трава что лечит. Вот ягоды арчевника. Они растут на склонах Синих гор. Их отвар помогает от кашля, и серый лишайник – тоже. Аккозы и бабушка Дамежан карабкаются по сыпучему склону, чтобы надрать лишайника. Бабушка цепляется клюкой за острые камни. Ноги соскальзывают и обжигаются о заросли ясенца, который горит, не сгорая, на солнце настоящим огнём, как от спички. Уже сил нет карабкаться. Аккозы задыхается и просыпается от глухого, тесного кашля. Возле неё сидит мать и причитает:

– Ай, Аккозы! Ай, Аккозы!

Причитая, мать заправляет свои косы под жёлтый шерстяной платок, и уходит растапливать печь.

Из-за печи высовывается ягнёнок. Он родился слабым и хромым. Мать надевает соску на бутылочку и кормит его, поглаживая по волнистой спинке. Ягнёнок мелко дрожит, проливает молоко, захлёбывается.

– Ай, Аккозы! Ай, Аккозы! – причитает мать. В казане растапливается бараний жир. Приторный чад заполняет дом. Аккозы снова кашляет, и чувствует во рту вкус солёного железа. Опять кровь...

Потом мать растирает ей грудь горячим жиром, поит отваром горного лишайника с молоком. И до позднего утра, до самого яркого солнца, лежит Аккозы в постели, закутанная до подбородка жарким платком матери, укрытая поверх одеяла ещё и овчинным полушубком.

Когда мать уходит хлопотать по хозяйству, Аккозы скидывает с себя всё это и дышит утренней, блаженной прохладой. От счастья у неё в ушах начинают плескаться волны озера, и Аккозы видит сквозь прикрытые веки, как летят две утки, поджав широкие лапки. На воду падают два пера – зелёное и серое. Они крутятся волчком на волне, зацепляя друг друга. Потом их прибывает к берегу, и они сохнут на песке. Если пойти туда сейчас, то перья можно увидеть и взять себе. Аккозы вздыхает. Раньше озеро было совсем близко. Аккозы быстрее всех добежала туда и забиралась на одинокий холм Кекре. От него пошло и название урочища у Синих гор – Кекрели. Холм так назвали потому, что там в изобилии растёт горький василёк-кекре.

Теперь Аккозы кажется, что она никогда не сможет дойти до озера – так оно далеко. Не хватит сил.

\* \* \*

Осенью, когда отец вернулся с жайляу, Аккозы стали собирать в город. В больницу. До станции ехали на телеге старика Ахмета: он как раз решил навестить дочь и внуков, вот и прихватил соседей.

Дорога размокла от дождей и телега хромала.

Аккозы сидела лицом к пропадающему вдаль урочищу. У мазанки осталась мать и махала теперь Аккозы жёлтым платком. Потом прижала его к лицу. Платок сохранил запах дочери.

Аккозы вздохнула и легла на спину в сено, которым была набита телега. Ахмет уныло пел длинную песню. Отец, то ехал рядом со стариком, то спрыгивал на землю и шёл, заложив за спину камчу. Он не расставался с этим коротким чабанским кнутом и боялся потерять.

Над дорогою плыл, накреняясь, клин улетающих уток. Одно перо сорвалось с неба, упало в грязь. Аккозы попросила отца достать. Перо было зелёным, с голубоватым налётом, будто запотело от холода. Аккозы подула на него, и мигающие дуги заскользили по узорной маховке.

На станцию приехали рано. Отец заткнул камчу за голенище сапога и расхаживал по перрону, присматриваясь к обходчику в оранжевой куртке и малахае. Тот проверял рельсы, простукивая их длинным молоточком. Отец заговорил с ним:

– Э-э, вы, я вижу, старше меня, и вам бы надо на жайляу, овец пасти, а мне, молодому – железками стучать. Совсем всё перепуталось.

Обходчик рукояткой молоточка поправил напозающий на глаза малахай:

– Сам строил дорогу, как на жайляу пойдёшь? Ничего! Скоро поезд будет!

Родственники, наверно, в городе?

– Сыновья там. Учатся. Дочку, вот, везу в больницу. Кашляет кровью...

Обходчик печально покачал головой:

– Э-э, плохо, жаман!

Отец снял стёганую, лиловую шапку, потом тибетейку и вытер платком раннюю, тусклую седину:

– Совсем плохо. Она совсем ребёнок, ей жить надо. Всё перепуталось...

\* \* \*

Аккозы никогда не ездила на поезде, и теперь ей всё было интересно. Пролетающая степь за окном. Люди в поезде. Вот хохлушка в клетчатой юбке. Закалывает косы на макушке, обернув их кольцом, и верхняя губа у неё задралась, дрожит от смеха, что косы не даются, падают с головы:

– Да шоб вы сгибли! – ласково говорит им хохлушка.

Аккозы хочется помочь ей. Она видит, где следует заколоть, чтобы косы держались, но Аккозы стесняется.

У окна боковой полки сидит, подперев ладонью подбородок, молодой узбек в тибетейке. По краям тибетейки вышиты белые изогнутые «огурцы». Узбек водит мизинцем по щеке, и ему нравится, что щека шершавая, что прячет в своих порах тёмную, мужскую щетину. Ногами узбек обнимает большой чемодан, который благоухает яблоками. Ночью не спит. Пьёт чай и сторожит чемодан.

В проходе стоит высокий солдат в расстёгнутой гимнастёрке и смотрит на Аккозы. Он давно так стоит. Шёл куда-то – и остановился. Узбек сначала сердится на него:

– Слушай, дорогой, проходи, а!

Солдат не проходит. Тогда узбек, пощёлкав языком, уже мирно говорит:

– Слушай, дорогой, садись чай пить, а!

Солдат не садится. Он всё смотрит и смотрит на Аккозы. Не отрываясь. И она на него смотрит. Он смуглолиц, скуласт, как все люди в урочище Кекре. Только глаза

у него зелёные, незнакомые. Поблескивают ночные пролетающие огни на пряжке его ремня. Поскрипывает верхняя полка, где спит отец. Вдыхает хохлушка:

– Ох, божечки, як же за ничка, мисяца нема...

Позвякивает подстаканник узбека, а тот дремлет, соскальзывая головой на пыльный столик. Только Аккозы и Солдат глядят друг на друга. Аккозы закрывает глаза, потому что у неё кружится голова. Солдат шепчет:

– Ты спи, спи, а я буду смотреть на тебя. Я не устал. Спи.

– Нет, я тоже не устала, я не устала...

И Аккозы снова открывает глаза, чтобы глядеть на Солдата. Удивительно, но кашель ни разу не сорвался с цепи, будто болезнь отступила, чтобы не мешать девушке и Солдату, только на щеках Аккозы горел лихорадочный румянец.

«Я не видела таких людей, как он», – думает Аккозы, и не знает, чем же он отличается ото всех?

«Как она прекрасна, – думает Солдат, – как прекрасна, как прекрасна...» – и нет у него других слов, потому что и колёса выстукивают только это: «Как прекрасна! Как прекрасна!»

«Я бы ему показала холм Кекре, где ящерицы глядят в глаза, не мигая. Я бы рассказала ему про все травы в нашей степи: и про акмию, и про горький василёк-кекре, и про камку, нежную, как шёлк, и про весенний кандык, что зеленеет среди снега в горах. Ночью стебли кандыка покрываются льдом, но едва всходит солнце – оттаивают и зеленеют, как прежде. А ещё я рассказала бы ему, – думает Аккозы, – об удивительном цветке кеуль, который расцветает только к вечеру, когда с гор спускается прохлада. Кеуль цветёт всю ночь. Его белые и розовые лепестки мерцают в темноте ночи, как живые лица...»

«Она живёт, наверно, в жалкой мазанке, – думает Солдат. – Я слышал, отец её говорил о Кекрели, а это бедное урочище, в горной долине, у Синих гор. Я приезжал туда как-то, ещё до службы в армии, когда был учеником камнетёса Азгыра. Мы с ним ездили в Кекрели за рабочим камнем. Я увезу её из Кекрели, увезу в город. Дом ей построю. Пусть и родители мои, и мои братья, и я живём в казённой квартире, на пятом этаже, я хочу построить дом. Для неё. Такой дом, чтоб можно было заглянуть в окна с улицы, цветы положить тайком на подоконник. Может, в том доме и я когда-нибудь буду жить, если она захочет...»

«Я вылечусь, я буду учиться в городе, чтобы все травы на земле знать и делать из них лекарства для людей, – думала Аккозы. – Я буду ходить по городским улицам в красивом шёлковом платье, и, может, однажды встречу Солдата. Мы не будем молчать, как теперь, а говорить много умных слов, и он удивится, какая я учёная и взрослая, но всё равно я бы ему рассказала о холме Кекре, о крике уток на нашем озере и о летних женщинах, когда они прямо на траве ткут ковры из крашеной шерсти, и расшивают узорами белые кошмы, а в горах дымятся ущелья, будто кто-то кипятит молоко в огромных каменных казанах. Парной дух туманит окна мазанок и голубое стекло озера. Как хорошо в Кекрели!» – Аккозы уже заскучала по дому.

«Она вернётся в своё урочище, где люди давно живут рядом, и привыкли друг к другу, и не хотят других людей, – с грустью думал Солдат. – Она такая красивая, что у неё, конечно же, там есть парень, который умеет скакать на коне, пасти отары, играть на домбре, разделявать мясо за столом. Таких любят в Кекрели. А он, Солдат, ничего этого не умеет. Он вырос в городе...»

Побледнели окна и зачернели станционные столбы. Отец заворочался на верхней полке. Поискал камчу. Нашёл. Спрятал под подушку. Опять заснул.

Узбек пугливо вскинул голову. Пошарил ногой под столом. Чемодан был на месте. Тогда узбек спросил Солдата:

– Слушай, дорогой, где едем, а? – и стал вытирать тюбетейкой запотевшее окно. – Степ и степ, будто не ехали, слушай!

Хохлушка тоже прильнула к окну, сладко позёывая. Пощупала свои косы уложенные тугой корзинкой, пощупала красные бусы на груди, и осталась довольна, и дивилась на степь:

– Як же просторно, дивно кругом! Як у нас на Дону. Дивно!

Только Аккозы и Солдат молчали. Они глядели друг на друга, и, казалось, боялись потерять даже минуту на что-нибудь другое.

Когда взошло солнце, появился сердитый офицер в ремнях, и приказал Солдату немедленно возвращаться в свой вагон. Он свирепо оглядел Аккозы, узбека и хохлушку, будто они тоже нарушили военный устав, и пошёл, отпихнув чемодан с яблоками, который выдвинулся в проход.

– Слушай, дорогой, потише, а! Зачем пинаешь, а? – обиделся узбек.

Но офицер даже не оглянулся. Его коричневая шея была изрезана белыми полосками не загоревшей кожи, как треснувшая твердь такыра.

– Такой золотенький хлопчик, а вже злючий! – вздохнула об офицере хохлушка, поправляя на взволнованной груди красные бусы.

\* \* \*

Отшумели осенние дожди. Снега замели урочище Кекрели по самые крыши. Потом и снега покинули землю. В горах зацвёл кандык и лишайник помолодел. Снова перед рассветом кричал на озере зелёный селезень. Серая утка пряталась в густой осоке и чутко замирала от его зова.

Весной Солдата отпустили со службы домой. Он погостил немного в родительском доме, погулял с друзьями, и решил ехать к дальнему родственнику. Родственника Солдат не видел с детства, едва знал, и все удивились, что он хочет ехать к нему. Но Солдат настоял на своём, и отправился в путь. Дорога шла мимо урочища Кекрели. Там Солдат спрыгнул с попутки и махнул рукой:

– Поезжай!

Ещё не пришло время летнему зною, и степь, до самого озера, была ослепительно-зелёной, влажной от утренней росы. Солдат одёрнул гимнастёрку и пошёл в урочище. Пахло палёным кизяком и высыхающей свежей глиной. Женщины топили летние печки и весело переключались друг с другом. Громко блеяли ягнята. В гулком утреннем воздухе голоса их множились и долго звенели. Было слышно, как туго падает в подойник молоко, будто кто-то оттягивает и отпускает струну. Хромой барашек, который щипал траву у дороги, испугался незнакомца и поскакал к покосившейся мазанке. Там он сел у двери – смешно, по-собачьи. Солдат поглядел и засмеялся.

На сухой кочке сидел старик и ножом вырезал посошок. Это был Ахмет. Он не везде снял кору с древесины, а кольцами пустил её по стволу. Между колец поместил остроконечные узоры и круглые глазки. Теперь мастерил ручку. По-

видимому, ему хотелось вырезать голову какого-то животного, и Ахмет то и дело вспоминал его, потому что поблизости не было похожего.

Солдат поздоровался, почтительно поклонившись. Старик ответил, не поднимая головы. Он вспомнил нужную деталь и теперь вытачивал её ножом. Солдат, согласно старинному степному обычаю, о котором слышал от родителей, спросил старика о его здоровье и о здоровье родичей. Слава Аллаху, все оказались здоровы. Тогда Солдат спросил о здоровье скота. Скот тоже был здоров. Разговор не клеился. Солдат сел на корточки рядом со стариком, наблюдая за его работой. Старик закончил делать ручку. Это было не животное, это была птица – горный орёл, с хищным клювом и встопорщенными перьями.

– Здорово! – восхитился Солдат. Старик, наконец, поднял голову. Заговорил не сразу. Сначала хорошенько осмотрел Солдата, и только тогда спросил:

– Зачем к нам пожаловал, Солдат?

– Я хотел спросить, ата, девушка у вас живёт в Кекрели?

Старик усмехнулся, оглядывая палку:

– У нас много девушек живёт. Невесту идёшь выбирать?

– Вы не так поняли меня, ата. Мне нужна очень красивая девушка. У неё лицо такое белое-белое, ну, как... как облако! Она очень красивая!

Старик положил палку рядом с собой, а нож воткнул в землю:

– У нас все девушки красивые, но только лица их я бы сравнил с жарким солнцем, а не с белым облаком.

– Нет, эта девушка именно такая, как я говорю! У неё родинка есть между бровей. Она ещё осенью ездила в город, на поезде!

– Э-э, Солдат, что ж ты имя её не спросил? Уж не Аккозы ли это? Она и вправду была такой, как ты говоришь – с родинкой...

– Почему была? Разве она не приехала назад, в Кекрели?

– Приехала, сынок, приехала... – печально вздохнул старик.

– Так покажите мне скорее её дом! Аккозы – какое нежное имя: Белый Ягнёнок... – улыбался Солдат, и видел, что весенний луч прямо с неба входит в зелёное горло цветущей травинки, и травинка начинает петь.

Старик посохом ткнул в сторону высокого приозёрного холма:

– Вон её дом, на холме Кекре!

– Где? Я не вижу! Я не вижу! – Солдат вскочил, Солдат пристально глядел из-под руки, и ничего не видел, только пустой холм. – Я не вижу, ата, где?

– Сходи туда, бала, всё поймёшь...

Солдат побежал к холму через длинную зелёную долину. Холм возвышался над озером, и весь зарос голубыми цветами горького василька. Мгновенно взобрался Солдат на холм – и замер: там стояла каменная плита с именем Аккозы. Солдат провёл по ней ладонью. Да! Это был камень. Только камень. В сухих слезах горной слюды. И больше ничего. Солдат лёг на белую глину, глазами вниз, будто мог увидеть сквозь земляную толщу прекрасное лицо девушки Аккозы. Холм гудел. Внутри него пульсировала живая кровь степи.

Так лежал Солдат и думал, что существование его сократилось вот до этого холма, заросшего горьким васильком, и нет больше ничего другого, и не будет. Он не видел, как утки внизу ловили клювами солнечные блики на воде и поднимали вверх гладкие головки, чтобы пропустить добычу в горло. Он не слышал, как потом они всё громче убеждали друг друга:



– Красота! Красота!

А маленькая серая уточка вторила им из густой осоки:

– Всё будет! Всё будет!

\* \* \*

В урочище привыкли к раннему голосу камня, когда его обтачивали и гранили. Камень смеялся и капризничал, как ребёнок в руках любящего отца. Он играл с Солдатом, высверкивая синими искрами, выстреливая мелкой пылью, выскальзывая из уставших ладоней.

Так было каждый день. Когда красногрудое солнце уткой выныривало из озера, начинало кружить по небу, охотясь на мух и комаров, Солдат выходил из шалаша, который поставил тут же, на холме. Спускался к озеру, умывался. Потом повязывал голову гимнастёркой и приступал к работе. Мокрая спина его к полудню ослепительно блестела, а он работал и работал.

Приходила мать Аккозы. Молча глядела на обтёсанные камни. Утирала глаза концом жёлтого платка и оставляла Солдату пару лепёшек, горячего ещё мяса, курт и банку молока. Солдат молча ел, глядел безучастно на озеро, на Синие горы в летнем мареве, на призрачное облако. Мать Аккозы тихо спускалась с холма и брела в урочище, оглядываясь на одичавшего Солдата.

Дотемна, до густого дыхания ночных трав работал Солдат на холме Кекре. Обточенные камни ложились ровными брусками, серебрились под луной. Солдат боялся ночи. Душа его, не занятая работой, тосковала в одиночестве. И только утро приносило облегчение.

День за днём всё выше поднимался на приозёрном холме Кекре мавзолей – новый дом Аккозы, где вечно жить ей одной. И нельзя Солдату переступить порог этого дома, построенного для любимой. Только работа оставлена ему в утешение, да небо над головой с лёгким облачком, да гортанные крики уток, да цветы горького василька, да бесконечно-долгая жизнь...

